

63.3(2)52

Г 55

ГРАФ
МИЛОРАДОВИЧ



*в битвах
и среди поэтов*



Эпоха
Характер
Общество







*“ Мой девиз—
бесстрашие, инициатива,
забота о солдате. ”*

Олег Глушкин

**ГРАФ
МИЛОРАДОВИЧ**

**в битвах
и среди поэтов**

**Янтарный
сказ**

УДК 947
ББК 63.3(2)52-8
Г 55

Оформление серии *С. И. Соболева*

Глушкин О. Б.
Г 55 Граф Милорадович: в битвах и среди поэтов/О. Б. Глушкин. — Калининград: «Янтар. сказ», 2004. — 128 с. — (Эпоха. Характер. Общество).
ISBN 5-7406-0548-2 : Б. ц., 3000 экз.
УДК 947
ББК 63.3(2)52-8

Автор в увлекательной форме рассказывает о графе Милорадовиче — генерал-губернаторе Санкт-Петербурга, который прославился не только на полях сражений с Наполеоном, но и близостью к поэтическим и театральным кругам того времени.

ISBN 5-7406-0548-2

© О. Б. Глушкин, 2004
© ФГУИПП «Янтарный сказ», 2004

I. ГЕНЕРАЛ

И

ПОЭТ



есна в 1820 году пришла в Петербург внезапно. Совсем недавно еще трещали морозы, а тут быстро стал с крыш снег, двинулся лед по Неве, и закружило головы солнце. По вечерам же все покрывалось таинственным серебристым туманом. Близились белые ночи. Пробуждались в деревьях соки, дремавшие целую зиму, сильнее становилось бурление крови и мыслей. Гренадеры в строю сбивались с ноги. У поэтов рождались шальные строки. И даже военный губернатор, генерал от инфантерии граф Михаил Андреевич Милорадович с утра напевал невесть почему привязавшийся мотив разудалой мазурки.

Он стоял у широкого окна своего про-

сторного кабинета. Зоркий взгляд голубоватых глаз, который называют орлиным, гордый полуоборот головы, черные кудри, ниспадающие на высокий лоб, нос с горбинкой, короткие завитки на висках, зачесанные вперед, полуулыбка любителя театра и покровителя петербургских актрис. Стекла окон отражают блеск многочисленных орденов, солнце играет в золоте и серебре наград. Награжден он почти за каждое сражение, в котором принимал участие, — и ни разу не был ранен, как замороженный. И, несмотря на возраст — уже за пятьдесят, — стоит появиться в театре, как многочисленные лорнеты наводятся на губернаторскую ложу — чарующие, манящие взоры петербургских красавиц, — а он весь там, на сцене, где парит Истомина, где мелькают ее изумительные точеные ножки. А еще прельстительней Зубова — глаз от нее не оторвать, такая в ней грация. Слепок с ножки танцовщицы, отлитый в серебре, лежит на письменном столе. Некоторых это шокирует, но помалкивают, сам император знает о том, но что он может сказать: столь же пристрастен Александр I к красоте, как и его губернатор. И конечно, государь — само обаяние. Перед улыбкой государя редко кто мог устоять, недаром все называют его — *наш Ангел*.

Многое связывало генерала и императора. Вместе въезжали в города Германии, освобожденные от корсиканца, вместе отплясывали на балах — и таяли, млели аккуратные сдобные немочки. И когда покидала гвардия пределы Европы, бежали женщины за восседающими в седлах рыцарями, целовали руки, хватались за стремяна. Любовь особенно ярка и остра, если ты заслужил ее, если ты победитель, пропахший порохом, не знающий поражений...

Весенним днем заниматься скучными делами невыносимо. Чтобы скоротать время, позвал своего адъютанта Башуцкого. Сыграли несколько партий в шахматы. Выигрывать у Башуцкого было легко, тот часто терялся, краснел, как девица. Да еще и думал над ходами подолгу. Этого Милорадович не любил. Игра должна быть легкой и быстрой, на то она и игра. Надо уметь рисковать, уметь жертвовать фигурами, а не дрожать над своими пешками. Да и в штабе какая игра, все время прерывают, нужно или не нужно. Пустячное дело, которое может решить простой адъютант, облакают такими закорючками, что впору звать, для того чтобы рассудил, самого царя Соломона...

Быстрее отдать распоряжения, в карету — и в Павловск или, на худой конец, в Петергоф,

и чтобы рядом была дама сердца, чтобы нежные ее пальцы касались щеки, чтобы дышать ее ароматами... Вот завершить сегодня одно дело, полагал Милорадович, и свободен. А предстояло ему хорошенько пресечь проказы юного шелкопера. Посланный Фогелем человек так и не добыл возмутительных виршей, и Милорадович еще с вечера приказал доставить к нему сочинителя Александра Пушкина. Пушкин был известен губернатору, не раз сталкивались за кулисами — то в одной актерской гримерной, то в другой. Куда ни пойдешь, везде Пушкин. Скалит белые зубы, хохочет — недаром имеет прозвище *обезьяна*. И что в нем находят светские дамы — ему непостижимо. Даже княгиня Евдокия Ивановна Голицына, завидев его, краснеет, как юная девица. Забывает, что ей уже к сорока. Недаром ее раньше звали *княгиня Ночь*. При живом-то муже завела себе салон вроде парижских притонов. Считается оригинальной и умной. Приличен ли женщине столь извращенный ум? И все поощряют ее шаловливость, ее пристрастие к молодым юношам. Говорит развязно, с полуулыбкой такое, что в казарме солдатской не услышишь. Гостям своим тоже позволяет скабрзные шутки отпускать. И Милорадович вспомнил, как в его

присутствии эта княгиня слушала гнусные вирши, где отечество и в грош не ставится, а еще называет себя патриоткой! Стихи безнравственные, но лезут в голову, запоминаются — вчера среди других крамольных и эти передали. Как рука поднялась такое написать: «Отечество почти я ненавидел» — ведь это отечество ему все дало, вскормило его! И заканчивает стих свой:

**Но я вчера Голицыну увидел
И примирен с отечеством моим.**

И все же концовка была великолепной, это должен был оценить даже Милорадович, обязанный искоренять крамолу. Он к тому же знал, что есть другие вирши, куда более крамольные. Ведь юнец покушался в стихах на самого императора. И потом, эти более ранние, известные всему Петербургу стихи на Аракчеева: «Всей России притеснитель... Полон злобы, полон мести, без ума, без чувств, без чести. Кто ж он? Преданный без лести...» Без лести предан — такой девиз начертан на гербе у Аракчеева. Милорадович вспомнил, что язвительные языки переделали *без* на *бес*, одну букву изменили — и каков девиз?

Аракчеева Милорадович недолюбливал, да и тот не жаловал генерал-губернатора. Глава

военного департамента Аракчеев считал, что ему все дозволено. Мог отменить распоряжения Милорадовича, мог собственноручно наказывать солдат. Государя опутал лестью. Из солдат решил сделать землепашцев. Замучил всех шагистикой. Установил за всеми слежку. Подсылал даже своих шпионов в губернаторскую канцелярию. Однажды пришел его посланец под вечер — высоченный штабной генерал из новых выскочек, — изображал бывалого вояку, принес ящик цимлянского. Думал — выпьет губернатор, язык развяжется. Все расспрашивал про императора. А после четырех бутылок этот «бывалый» генерал под стол свалился. Сказал тогда Аракчееву при встрече: «Подсылай кого-нибудь покрепче». Теперь к Аракчееву не так просто и попасть. Окружил себя адъютантами и столоначальниками. Чтобы унижить его, Милорадовича, заставлял подолгу ждать приема. Приходилось высиживать перед дверями кабинета иногда и более часа. Зато и сам Милорадович отыгрывался на аракчеевских адъютантах, не впускали их к нему в кабинет, а он, узнав об их прибытии, выскакивал с черного хода на Мойку — и был таков. Конечно, Аракчеев заслуживает любых обвинений, но не таких оскорбительных, какие выдумывает юный поэт, — всему есть предел, полагал губернатор.

Удивляло графа, что находятся почтенные люди, потекающие дерзкому поэту. Карамзин разливается соловьем перед государем — стихи Пушкина не более чем шалость, брожение молодости, растет талант, бесценный для России. Даже генерал Васильчиков, командующий гвардией, и тот пытался слово замолвить, дерзнул царю передать вирши и все объяснял, как чудно написано, с каким почтением к государю: «Увижу ль, о друзья! народ не угнетенный! И рабство, падшее по манию царя...» Мол, все надежды связаны с вами, ваше величество! Это все с чужого голоса поет Васильчиков, в адъютантах у командующего гвардией — главный вольнодумец лейб-гусар Чаадаев! Все играют в либералов. Всем вскружили головы заграничные походы — увидели европейские порядки и захотели такие же завести. Рядом служит тишайший на вид человек с детским личиком — прежний неизменный адъютант, а теперь заведующий канцелярией полковник Федор Глинка. Большой, однако, любитель масонов и всяких тайных сборищ. Тоже не преминул за Пушкина вступить, с восторгом декламировал:

**И ветхую главу Европа преклонила,
Царя-спасителя колена окружила...**

И что-то еще читал, про Бородино, про Кульм. Сам тоже пишет стихи, мог и свое выдать за пушкинское, лишь бы выручить друга. Недавно выпущен из лицея, что может знать этот Пушкин о Бородино? Избави Господь от столь кровавого месива. Доведись узреть все этому курчавому бесенку — обомлел бы от страха. Милорадович был уверен, что все эти вольнодумцы храбрые только на словах, стоит припугнуть хорошенько — и дерзкий воспитанник лицея станет шелковым.

Сейчас перед ним должен предстать поэт, один на один, без своих друзей и салонных заступниц, — сразу падет ниц, будет молить о пощаде, руки целовать, как и все эти паркетные шаркуны...

Впрочем, и другое понимал Милорадович: здесь случай особый, и в смелости отказать нельзя этому юному театральному завсегдаю. Недавно совсем, в ложе показывал публике портрет Лувеля с надписью: «Урок царям». Громко хохотал, захлебывался, и хохот превращался в рычание — вспомнилось — не только обезьяной прозывают стихоплета, но еще и тигром... В другой раз пустил по рядам свои вирши про Стурдзу, доносившего Коцебу о всех вольнодумцах, учившихся в немецких

университетах. Бедный Стурдза бежал в Варшаву, а Коцебу был злодейски убит немецким студентом Карлом Зандом. Публично восхвалять убийц — возможно ли? Бездельник Лувель убил герцога Беррийского, наследника французского престола, и вот — Пушкин носится с портретом убийцы. Вольнодумцы и в России хотят пустить кровь, да вся ярость в слова уходит. Это явление не отечественное — тяга к словопрениям, это из европейских университетов идет. Он, Милорадович, был в том уверен, знал об этом не понаслышке. Сам учился и в Геттингенском, и в Кенигсбергском университетах, знает многих философов — только есть ли толк от них? Вот все говорят: Кант, Кант, — а что в нем? Ничего, кроме всяческих сомнений. А сомневаться, особенно на поле боя, — последнее дело! Слышал Милорадович, как в застолье у Глинки орали песню, слова которой сочинил все тот же Пушкин:

Друзья! досужный час настал,
Все тихо, все в покое;
Скорее скатерть и бокал!
Сюда, вино златое!
Шипи, шампанское, в стекле.
Друзья! почто же с Кантом
Сенека, Тацит на столе,
Фольянт над фолиантом?

**Под стол холодных мудрецов,
Мы полем овладеем;
Под стол ученых дураков!
Без них мы пить умеем...**

Вот здесь, пожалуй, Пушкин прав! Только вслух об этом не скажешь. Сейчас, по прошествии сорока с лишним лет, многие из тех, кто учился вместе с Милорадовичем в Кенигсбергском университете, любят щегольнуть знанием работ великого немецкого философа, вспоминают, как слушали его лекции и для них прояснялись идеи критического познания мира. Милорадович был самым младшим из тех, кто полудремал на лекциях в холодных, сырых комнатах длинного здания, из окон которого с одной стороны была видна река с плывущими по ней баржами и здания складов, а с другой стороны нависали толстые темно-красные стены Кафедрального собора. Дома на острове Кнайпхоф стояли плотно, словно старались защитить друг друга от балтийских ветров. Улицы были узенькие и, чтобы пропустить конный экипаж, приходилось плотно прижиматься к стене...

Кант был похож на Александра Васильевича Суворова — такой же легкий, почти воздушный. Кант столь же быстро ориентировался в книжных постулатах и философских

построениях, как Александр Васильевич в своих боевых экзерцициях. Был Кант столь же неожиданен и парадоксален. Но если Суворов всегда выделял и хвалил своего ученика-воина и говорил всем: «Милорадович будет славным генералом!» — то Кант, наверное, и не запомнил малыша, таскающего в кожаной сумке книги свои и двоюродного брата Григория.

Брат был старше, и ему отец доверил совсем юного Михаила. Старался тогда Михаил все познать, все записать, но все же были милее забавы юности. До сих пор помнятся живо поездки к морю, в рыбацкий поселок, где пухлые, пахнущие парным молоком девицы за хорошие подарки позволяли многое и, видя смущение студюозов, заливались безудержным смехом. Было тепло и солнечно в ложбинах, укрытых от людских глаз, среди золотистых песчаных дюн. Еще запомнились с тех кенигсбергских лет диковинные кушанья — тающий во рту жирный флек, сладкие воздушные марципаны, рыба, запеченная в тесте...

Все в жизни может пригодиться человеку, и сейчас, когда пришла пора учить других, когда все ждут решения от него, губернатора, нет-нет да и вспомнится кантовская наука — все

подвергать сомнению. Для военного человека такой подход гибелен, а вот в высших кругах, когда приходится управлять городом, когда любой чиновник норовит свой ум выказать, повернуть все себе на пользу, — тут другое дело, тут нужна мудрая наука. Понял Милорадович, что истинная наука в том и состоит, чтобы дать человеку основу для разрешения любых, самых непростых обстоятельств; для всего этого, говорят, нужна философия, но до чего же она бывает занудной...

После Кенигсберга была и другая учеба, но все давалось проще, чем философская мудрость. В армейских школах Страсбурга и Меца был юный Милорадович на самом хорошем счету, особое прилежание, по данной ему тогда аттестации, показал в изучении фортификации и артиллерии. Основную же науку одолел не в аудиториях, а на поле брани: с десяти лет записан солдатом в лейб-гвардии Измайловский полк, в Шведском походе — поручик, в двадцать шесть лет — генерал-майор. Самый молодой генерал в суворовском окружении, в Италийских и Швейцарском походах. За эти походы — муаровая Александровская лента, сардинский орден Святого Маврикия, командорский крест Святого Иоанна Иерусалимского.



А. С. Пушкин. Худ. А. О. Орловский.
Первая половина 1820-х гг.

Он, Милорадович, единственный из генералов, кому император разрешил носить в петлице знак ордена Святого Георгия, которым обычно награждались только нижние чины. «Ты — друг солдат, носи солдатский крест!» — повелел император. Был царствующий тогда Павел непредсказуем и вспыльчив, но был и истинным рыцарем, этого не отнимешь. Милорадовича раздражало, что теперь о мертвом вспоминают только плохое. Александр I вообще хотел бы забыть об убитом отце. Когда велел обнаружить все возмутительные стихи Пушкина, говорил, что особо стараться надо изъять списки потаенной оды «Вольность». Эту оду Фогель добыл сразу, но царю передавать ее не стали. Там было и об убийстве Павла, все то, о чем при дворе хотели забыть, ведь свершила все гвардия с молчаливого согласия Александра. Написать такое: «Везде несправедная власть!» — значило дерзко оскорбить императора! К чему копаться в прошлом. Было и прошло. «Это никогда не должно повториться в русской истории», — сказал как-то Сперанский. И он прав — никогда убийство уже не сможет решать судьбу престола! А тут такие злобные строки, пятно на всю отечественную историю... Если не уничтожить списки, что скажут люди, когда

прочтут, — нет и не было в России закона...
«Молчит Закон — народ молчит...» И даль-
ше такие строки:

**Вином и злобой упоенны,
Идут убийцы потаенны,
На лицах дерзость, в сердце страх.
Молчит неверный часовой,
Опущен молча мост подъемный,
Врата отверсты в тьме ночной
Рукой предательства наемной...
О стыд! о ужас наших дней!
Как звери, вторглись янычары!..
Падут бесславные удары...
Погиб увенчанный злодей.**

Тогда губернатором был Пален, сам участник заговора. Теперь подобное не повторится. Милорадович в этом был уверен. Писать такие стихи не имело смысла. Павла многие не любили, но все должно совершаться по закону.

Суворов Павла презирал — нашла коса на камень. Вдали от дворцов, в Альпах, один был царь для всех, один князь — Александр Васильевич, по скалам скачущий мелкими прыжками, легкий, словно юноша, — уже под семьдесят, но никто не поверит. Лицо узкое, розовое, как у немецкого мудреца Канта И такой же низенький. С отцом Милорадовича, Андреем Степановичем, генерал-поручиком

Суворов был дружен. Отец к тому времени уже был в отставке. Суворов часто вспоминал, какие вкусные пирожки с черникой подавали в доме Милорадовичей. В Альпийском походе своего молодого генерала Суворов по старой памяти называл Мишей. Все они были тогда для Суворова как дети. А начинался бой — ни себя не щадил, ни других. «Пуля — дура, штык — молодец! Быстрота, натиск — мать и отец победы! Всяк идет в атаку, имея свой маневр! Воевать надо и побеждать не числом, а умением! Где олень не пройдет, там русский солдат пройдет!» Лошадка у генералиссимуса была неказистая, низенькая, под стать хозяину, зато ни крутых подъемов, ни почти отвесных спусков не страшилась...

Дни и ночи в горах. Надо было приучаться лазать по скалам, искать выступы, упираться штыком, цепляться за каждую щель: чуть оступился — и полетишь вниз. Спускаться тоже было не легче. Лошади ломали хребты, ржали отчаянно, люди летели вниз, катились по льдистому слежавшемуся снегу. Увидел бы император Павел своих солдат — хватил бы его сразу апоплексический удар. Вместо негнущихся лосин — мягкие суконные шаровары, штиблеты поменяли на сапоги, о буклях и косах помина нет, у генералиссимуса один эпо-

лет оторвался, чулки приспущены... Милорадович был тогда молод, старался держать фасон. Всякое бывало. И не только сражения в горах, но и уютные городки в долинах, теплые домики под красными крышами. Была и сказочная Вена с ее непрекращающимися балами. В Вене Суворову и его генералам отвели целый дворец. Приказал Александр Васильевич вынести всю мебель, все кровати и постелить на пол свежего сена. Сдерживая смех, исполняли причуду его австрияки. Спас их князь Суворов от французов, и не только Австрию, всю Италию освободил. Разбил и Моро, и Макдональда. Не сдерживали бы его — так и Францию всю сходу бы прошел...

В тех походах Милорадович сдружился с князем Багратионом и великим князем Константином Павловичем. Одного уже нет — пал на поле Бородинской битвы, другой — в Польше, звал к себе. Но разве можно променять светский Петербург на мятежную провинциальную Варшаву, и хотя польские женщины отличаются необъкновенной красотой, рядом с Истоминой и Телешовой любая блекнет... Великий князь Константин тогда, в Альпах, словно гибели искал, бросался на штурм крепостей впереди гренадеров. Однаж-

ды пришлось выручать его. Под князем пала лошадь, потом под Милорадовичем убило коня, сабля сломалась. Бились рядом, спина к спине. Константина тоже ростом Господь не обидел, да и рубака лихой, везде напролом...

Шли через горы с той же быстротой, как и по равнине. Суворовский марш-бросок. Кашевары вперед, через три часа — за ними солдаты, через каждые семь верст отдых по часу. Шли обычно всю ночь, утром догоняли кашеваров, всем — обед и сон. Был победный месяц май, яркое солнце, тающий снег, звон ручьев в горах. Торжественный въезд в освобожденную от французов столицу Пьемонта ликующий Турин. Букеты цветов, объятия... Победители в одежде, изорванной о камни и скалы. Мундиры прострелены пулями и осколками, сапоги подвязаны шнурками. Сияют глаза на загорелых исхудавших лицах. Никто не верил, что перешли через Чертов мост, через тоннели, где только охотники раньше пробирались. Будто в преисподней побывали. И если вспоминается сейчас, то все равно без страха, не было тогда страха, только радостное упоение победой. И в ушах — звонкий голос Суворова: «Миша, вперед гренадеров, Миша, смелость города берет!» Трясется седой хохолок на непокорной голове генера-

лиссимуса, легко вспрыгивает светлейший князь в седло. Не любил, когда ему помогали... Чиновников презирал. Узнал бы, что Милорадович сделался губернатором, удивился бы: «Помилуй Бог, за что? Вместо баталий виршеплетов разыскивать! А ну прочти, что там у него?» Хохотал бы над эпиграммами: «И этого государь боится, помилуй Бог!»

Проживи дольше светлейший, разве пустили бы французов в Россию, разве дали бы пройти до Москвы, разве позволили бы спалить столицу? Не наше дело отступать — только вперед...

Во всем был прав незабвенный учитель. Виршам не надо придавать никакого значения. Но раз государь повелел взять сочинителя Пушкина и его бумаги, значит надо сие исполнить. Император Александр, которого Милорадович боготворил, был отходчив: получит списки стихов — и все забудет. Возможно, правы и те, кто убеждает государя в необычайном таланте сочинителя. Федор Глинка уже несколько раз заглядывал в приемную, все осведомлялся, был ли Пушкин. Глинка у столичных поэтов чуть ли не самый главный, председатель Вольного общества любителей российской словесности, славно написал обо всех сражениях в своих «Пись-

мах русского офицера», множество стихов сочинил, вот ведь как расписал Бородино, как его, Милорадовича, восхвалил:

**Друзья! Враги грозят нам боем,
Уж села ближние в огне,
Уж Милорадович пред строем
Летает вихрем на коне...
Пыль вьется: двинет враг с полками,
Но с нами вождь сердец — герой!
Он биться нам велит штыками,
Штыками крепок русский строй!
Идем, идем, друзья, на бой!
Герой, нам смерть сладка с тобой!**

Перехлестнул! Слов высоких слишком много! Если бы нашелся поэт, чтобы все это правдиво изобразил — и стоны раненых, и сладость атаки, и горящую Москву... Мелькнуло — вот Пушкин смог бы. Но молод еще, не дано было увидеть величие кровавой битвы, а с чужих слов ничего дельного не напишешь...

Единственное, что верно написал Глинка, — летал вихрем. Да, это верно: он, Милорадович, мчался впереди, размахивая саблей, что-то кричал — это когда был смертельно ранен Багратион и пришлось сменить его и взять под свое начало центр. Водил не раз своих grenадеров в штыковой бой. Визг картечи, едкий дым, колкая пыль, груды трупов, стоны ране-

ных. Многие батареи до десяти раз переходили из рук в руки, бились за каждый вершок земли. Те, кого собрал Милорадович, кого привел от Гжатска, пали на холмах Бородина. Удивил тогда Барклай, он успевал везде, лез на штыки, словно искал смерти. Рвы перед флешами были завалены трупами: не помогли всадникам Мюрата серебряные латы. Кирасиры генерала Фриона — железные люди, одетые в кованые нагрудники, — нашли свою смерть подле Курганной высоты у батареи генерала Раевского. К вечеру пало Шевардино, не устояв под напором пехотных дивизий маршала Даву. Это потом, по прошествии лет, любили ветераны рассказывать о своем бесстрашии. Выдумывали многое. О Милорадовиче рассказывали, что прямо под картечью уселся он на траву, повязал на мундир белоснежную салфетку и спокойно отобедал. И так это было, и не так. Вот Кутузов, тот действительно устроил себе пышный обед. Но это не на поле бородинском, как любят изображать, а в Горках: старик на само поле битвы не выезжал... Но был мудр, вот уж кто был воистину мудр...

Сто тысяч убитых остались лежать на поле брани. К вечеру пороховой дым сменился седым туманом. В этом становящемся все

более плотным тумане расходились две армии — и каждая считала себя победительницей.

Надо было прикрыть отход войск, задержать французов, рвущихся к Москве. Милорадович тогда был назначен командовать аррьергардом. Ему противостоял старый соперник Мюрат. Конница Мюрата наседала на гренадеров, измотанных постоянными стычками. Резервы, которые ждал Кутузов, оказались мифом. Была встреча с Мюратом, гренадеры-апшеронцы Милорадовича и кирасиры Мюрата застыли в отдалении. Вдоль дороги стелился белый дым, пахло гарью: горели леса южнее Москвы. Французский язык Милорадовича был не совсем безупречен. Но Мюрат все понял. «Не входить в Москву на наших плечах, — повторил Милорадович, — иначе будет кровавая бойня на улицах!»

Москву успели покинуть почти все ее жители. А потом сердца воинов опалил пожар, сильный ветер разметал пламя по всей столице, океан огня бушевал посередине России — полыхающий жертвенник. Нужна ли была эта жертва? Милорадович в те дни не был на стороне Кутузова. Помнил, с какими надеждами встречали старого полководца, как требовали все сменить Барклая и Беннигсена.



Битва при Бородино

Только русский должен предводительствовать войсками — этого Милорадович никогда не понимал. Служишь России, проливаешь за нее кровь, готов положить за нее свою голову, а тут начинают докапываться, какая кровь течет в тебе. Милорадовичи, знатная сербская фамилия, выходцы из южных славян, переселились в Россию еще при Петре I. Андрей Степанович, отец, никогда не скрывал своего происхождения и даже гордился им. Разве в этом дело? Сменил Кутузов Барклая — а разве изменил ход событий? Как отступали, так и продолжали отступать. Стихией же Милорадовича было наступление, стремительная атака. Сабли, блестящие на солнце, летящий вперед конь, развевающиеся знамена, громовое «ура». Милорадович появлялся на поле боя всегда подтянутый, всегда в парадном мундире. Стоял смело под пулями и картечью. Кричал отчаянно заботливый Глинка: «Неприятель целит в вас!» Отвечал ему спокойно: «Что ж, посмотрим, умеют ли они стрелять!» И на коне врзался в самую гущу, рубя саблями направо и налево. Так всегда было в битвах. Пуля не спрашивала, серб ты или русский. А сейчас в Петербурге опять пошли разговоры о засилии инородцев, — правда, государь такие разговоры не приемлет, он умеет

всех примирить. В губернаторском кресле тоже приходится не саблей махать, а вести любезные разговоры с поклонами и улыбками, хотя иной раз с трудом сдерживаешь себя, чтобы не схватить за шиворот очередного казнокрада и не дать ему пинка под зад. Вот кого надо бояться — кто Россию разворовывает, а не тех, кто вирши бездумные пишет.

Так думал Милорадович в то весеннее утро, ожидая явления строптивного поэта. Апрельское солнце уже всю светило в широкие окна губернаторского кабинета, бархатные занавеси пришлось слегка прикрыть, но все равно лучи проникали со всех сторон. Он хотел уже кликнуть кого-нибудь из канцелярии, чтобы плотнее сдвинули шторы, когда на пороге бесшумно появился адъютант и с радостной улыбкой, словно случилось нечто необычайное и долгожданное, доложил:

— Ваше превосходительство, вызванный вами Пушкин изволил явиться. Могу я его пригласить?

И тут же, не дожидаясь приглашения, из-за спины адъютанта появился, выскочил, словно чертик из табакерки, улыбающийся смуглый курчавый юноша. Быстро взглянул на стол, скаля ослепительно белые зубы. Милорадович сразу понял, что смотрит этот повеса на

серебряную ножку, и хорошо, если не знает, с чьей ноги взят слепок.

— Мне был приказ, — сухо сказал Милорадович, — взять вас и все бумаги доставить для следствия.

Улыбка у Пушкина сразу исчезла, глаза погасли. Милорадович почувствовал некоторую неловкость, ведь был он намерен вынужден послать шпионов в Коломну, в квартиру к Пушкину, да те вернулись ни с чем, — наверное, поэт знает об этом.

Пушкин уставился в окно, говорить ни о чем не хотелось. Губернатор не страшил его: хуже, чем есть, не будет. Вчера, когда он вернулся домой, время уже было позднее, но Никита, дядька, содержащий дом и прислуживающий ему, объявил, что приходил в квартиру какой-то неизвестный человек и давал пятьдесят рублей, прося почитать сочинения хозяина, уверял, что принесет их назад. Верный Никита наотрез отказался. Пытался Пушкин выяснить, как выглядел этот искуситель, — выходило, по описаниям Никиты, явно засланный соглядатай, этакий крючок из доносчиков, в черной шляпе, надвинутой на глаза. Дом у Калинкина моста в Коломне становился ненадежным. Проникнуть в него могут всегда и Никиту спрашивать не станут, войдут тайно,

когда никого нет... Пришлось ночью нащипать лучин. Положил их в камин сам, не стал звать Никиту — и все крамольные стихи в огонь, все письма друзей-вольнодумцев — туда же. Листки горели как бы нехотя, свертывались в трубочки, скатывались с неумело уложенных тухнувших лучин. Сердце пронзало — словно частицу себя сжигал. И Пушкин подумал: разве поймет поэта генерал, напрасно Глинка уверял, что Милорадович заступится, он генерал, ему был приказ государя, а генералы всегда выполняют приказы неукоснительно...

И чтобы показать, что ему ничего не страшно, Пушкин озорно блеснул белками глаз и усмехнулся. А потом уставился глазами в губернаторский стол. Милорадович попытался встать между поэтом и столом, заслонить спиной ножку танцовщицы — серебряный слепок; подумал — теперь жди язвительных виршей. Зычно крикнул в приотворенную дверь:

— Полицмейстера ко мне!

Появился адъютант. Приказал ему:

— Пошлите полицмейстера в квартиру Пушкина, пусть опечатает, и все найденные бумаги ко мне!

Пушкин при этих словах даже не вздрогнул, только скривился в брезгливой гримасе.

И Милорадович, глядя на него, не выдержал, усмехнулся. Вспомнил, как в императорском театре давали печальную пьесу и в самом трагическом месте этот вертлявый юноша стал делать такие ужимки, что сидящие рядом не выдержали: пошли по рядам смешки, чуть ли не хохот, зашелестело вокруг, лорнеты все повернулись в сторону возмутителя, а тому только это и нужно — встал, картинно раскланялся. Вот и сейчас доволен: много чести — сам губернатор занят его делом...

И вдруг увидел Милорадович другого Пушкина. В солнечном свете стоял посередине комнаты, выставив правую ногу вперед, откинув кудрявую голову, человек, никому не подвластный. Посмотрел на свой мизинец с острым, специально отращенным ногтем и сказал отчетливо:

— Граф, вы напрасно беспокоите полицмейстера, напрасно посылаете его. Там не найдете того, что ищете. Мои стихи сожжены. Но если вам угодно, все найдется в моей голове. Лучше велите дать мне перо и бумагу, я здесь же все вам напишу, разумеется кроме печатанного, и даже то, что разошлось под моим именем...

— Ах, как это по-рыцарски! — воскликнул граф Милорадович по-французски и

протянул юному сочинителю свою широкую ладонь...

Через час исписанные листки были вручены губернатору. Милорадович не мог скрыть своего восторга:

— Это по-нашему! Это, душа моя, по-рыцарски! Как честный человек честному человеку, я обещаю прощение от имени государя!

И Милорадович велел подать карету, чтобы тотчас ехать к императору.

Глинка, узнав о словах Милорадовича от Пушкина, торжествовал. С лица не сходила ослепительная детская улыбка. Глинка был предан Милорадовичу беззаветно. Был вместе с ним, его адъютантом, еще в первых сражениях с Наполеоном в 1805 году на баварской границе близ города Браннау и при Кремсе. Узнали тогда французы, каков русский штык. Милорадович приказал гренадерам не заряжать ружья, а ударить внезапно в штыки. Не выдержали хваленые непобедимые полки генерала Мермона. Потом Глинка бросил службу, увлекся словесностью, но когда вторгся Наполеон в Россию, не раздумывая, стал волонтером. С Милорадовичем встретился под Тарутином. Явился к нему в обгоревшей штатской куртке. Граф сразу обру-

шился на добровольца — как не стыдно? Офицер... Приказал обрядить в новенький мундир и опять сделал адъютантом... Бились бок о бок — и под Вязьмой, и под Малоярославцем, и под Красным. В битве граф был свирепым, настоящий лев. Но быстро остывал. Множество было захвачено пленных — щадил их, устроил для них специальный лазарет...

Если граф обещал прощение — все в порядке, уверял Глинка, все страхи позади. А про клевету, говорил Глинка, забудь, надо стать выше сплетен. Полковник Глинка был на двадцать лет старше Пушкина и, наверное, он казался ему стариком — уже за сорок, дожить поэту в России до таких лет почти невысказано, полагал Пушкин. Глинка же считал себя поэтом. И не чувствовал своего возраста. Он успевал везде — был и среди вольнолюбцев на тайных сходках, о чем Пушкин еще не знал и мог только догадываться. Верховодил Глинка и в Вольном обществе любителей российской словесности — там-то они и познакомились, был и в масонских ложах, как многие офицеры, — был до той поры, пока их не запретили. Вместе со своим губернатором Милорадовичем готовил положение об уничтожении масонских лож и всяких тайных обществ. Служба — куда денешься!

Радость Глинки по поводу прощения поэта была недолгой. Пушкин рассказал, что написал все свои крамольные стихи и отдал Милорадовичу и что тот уже повез эти стихи государю. Глинка оцепенел, не мог закрыть рта, но и сказать ничего не мог. Глинка понимал, что государь, стоящий теперь на вершине славы, определяющий судьбы Европы, непогрешимый победитель, никогда не простит пушкинского: «Ура! В Россию скачет кочующий деспот...» А дальше еще обидней для императора: «И прусский и австрийский я сшил себе мундир. О радуйся, народ: я сыт, здоров и тучен...» — и это о государе! Он не простит и оды «Вольность». Об убийстве Павла даже шепотом опасно говорить. А тут всё ему подадут на листках, написанное рукой автора. Надежда лишь на то, полагал Глинка, что граф прочтет листки хотя бы в карете и не покажет написанные стихи императору, спасет открывшегося ему поэта, поступит по-рыцарски. Но когда Глинка узнал, что и эпиграмма на Истомину дана графу, окончательно пал духом. Он стал выговаривать Пушкину, упрекать его в юношеском безумии. Хорошо хоть хватило ума не записать самую злостную эпиграмму, где была даже угроза — удавить кишкой царя. Оказалось, Пушкин просто забыл про нее.

Он-то забыл, а другие помнят, упаси Господь дойдет до императора — такое не прощается. Здесь и Сибирью не отделаешься. Да и того, что написал, хватит, чтобы заточить в крепость. Мысленно молил Господа, чтобы Милорадович потерял листки в дороге. Глинка знал, как бывает страшен в гневе генерал-губернатор, ведь в одной из записанных Пушкиным эпиграмм задета честь дамы его сердца. И что станется с Михаилом Орловым?! Карьере молодого генерала конец! Надо срочно предупредить Михаила, с которым связаны все надежды жаждущих свободы молодых офицеров. Орлов — прославленный генерал, герой войны с Бонапартом, он принял ключи от Парижа. Глинка был возмущен: «Зачем ты, Пушкин, написал эти стихи? Как повернулась твоя рука? Ты видел на столе у губернатора серебряную ножку, разве может быть вторая такая в России, со столь идеальной линией! Говорят злые языки, что это Зубовой! Они ошибаются! Это ножка той, о которой ты написал!» А потом они вспомнили эти стихи. И Глинка сам прочел их:

**Орлов с Истоминой в постели
В убогой нагоде лежал.
Не отличился в жарком деле
Непостоянный генерал.**

**Не думав милого обидеть,
Взяла Лаиса микроскоп
И говорит: «Позволь увидеть,
.....»**

Прочли — и разом рассмеялись. Пушкин не разделял страхов Глинки: просвещенный человек должен понимать юмор, полагал он. Пушкин еще не умудрен годами, да и позже годы не изменили его — он мог написать и похлеще, не щадя ничьих чувств. Но ведь и Орлову, и Истоминой он позднее воздал должное, и она, Истомина, осталась в памяти не по этой дерзкой эпиграмме — она вспорхнула на пуантах в роман в стихах и осталась на века в строчках:

**Блистательна, полувоздушна,
Смычку волшебному послушна,
Толпою нимф окружена,
Стоит Истомина; она,
Одной ногой касаясь пола,
Другую медленно кружит,
И вдруг прыжок, и вдруг летит,
Летит, как пух от уст Эола;
То стан совет, то разовьет,
И быстрой ножкой ножку бьет.**

Это все будет потом, а в ту весну были иные стихи, были свои опасения, свои планы. Два поэта еще долго читали вирши наизусть. Апрельское солнце, отражаясь от темных вод

Невы, освобожденных ото льда, таяло в сиреневом небе, в мыслях царило томление, весна порождала беспокойство и желание еще более эпатировать застывший в своем дуте величии высший свет. Запретных тем для поэзии, полагали они, не существует. Для Пушкина было важно остаться здесь, в северной столице, он не мыслил жизни вне ее строгих, закованных в гранит набережных, вне вод ее каналов, и главное — без театра, балов и светских раутов, без томных петербургских дам с лебяжьими шеями, бросающих на него, поэта, обещающие взгляды. Пушкин и Глинка были уверены, что Милорадович исполнит свое слово...

Но был еще и государь, в котором давно разочаровались те, кто его раньше славил, те, кто так и не дождался от него решительных действий и свобод. Справедлив ли Пушкин к своему императору, не слишком ли строг в своих оценках, спрашивал Глинка. Но сошлись на том, что государь уже не тот, что был в начале царствования. Много обещал и почти ничего не исполнил. Подразнил реформами и конституцией — и забыл. Уж лучше явный деспот, от которого и ждать ничего не приходится, кроме бичей и палок. А попался император либеральный — жди бунта...

Но может быть, сам Александр понимал, что Россия еще не созрела для реформ, само слово *свобода* здесь именуют *вольность*, даже у поэта, в ком видят красу русской литературы, ода не Свободе, а Вольности! В начале царствования любимый внук Екатерины, ученик француза Аагарпа, привезшего в морозную Россию крамольные идеи санкюлотов, юный государь, ненавидящий рабство, действительно хотел дать свободу народу. Он сразу же привлек к себе людей достойных, жаждущих реформ, он создал Негласный комитет, он готовил конституцию. Но события приняли другой ход: нашествие Наполеона, его изгнание, освобождение Европы, слава победителя — кому такое не вскружит голову? И большая заслуга его в том, что страна, победившая Наполеона, уже не чувствовала страха. В обществе могли свободно осуждать императора, он не давал хода доносам. В годовщину Бородинского сражения император не отслужил панихиду по убиенным: в этот вечер он танцевал на балу у графини Орловой. Какой гнев общества обрушился на него! Его осуждали за историческое беспамятство! Он никого не арестовал. Пусть говорят не скрывая то, что думают, пусть ничего не страшатся. Страх превращает людей в безмолвных рабов. Алек-

сандр был противником всякого насилия, он хотел избавить людей от страха... Но не мог избавиться от собственного страха, порожденного убийством отца. Те, кого он считал друзьями, могли превратиться в убийц... Он знал это.

Ему доносили о тайных обществах и настроениях среди офицеров — хотелось думать, что все это вымыслы слишком ретивых шпионов, но отмахнуться просто так от всех доносов было нельзя. Он видел вокруг неблагодарных людей, полагал, что все они готовы предать его, устроить ему новый Аустерлиц — опозорить на весь мир. Он удалил от себя прежних сподвижников-вольнодумцев, теперь его окружали аракчиевцы и казнокрады.

Стихи Пушкина, направленные против него, Александра, были как соль на рану, как еще одно подтверждение людской неблагодарности. И еще раздражало, что все наперебой просят за дерзкого рифмоплета. С просьбами не наказывать строго юного поэта приходили самые почтенные люди. Директор лицея Егор Антонович Энгельгардт убеждал: необыкновенный талант в нем, большая надежда нашей литературы. Объяснял Энгельгардту: этот талант наводнил Россию возмутительными сти-

хами, вся молодежь их наизусть читает, вашего Пушкина другой бы царь давно сослал в Сибирь! Энгельгардт гнул свое: в Пушкине развивается необыкновенный талант, который требует пощады... Карамзин тоже вторит директору лицея: все знают, как вы милостивы, все надеются на ваше благородное сердце...

Все ждали от него милостей. Он хотел бы оправдать их надежды. Снисходительно смотрел на повальное увлечение масонством, не карал вольнодумцев — ведь они просто вслух говорили то, о чем думал, что хотел свершить в начале царствования он сам — это были люди, близкие ему. С другой стороны, Аракчеев и Бенкендорф твердили о чрезмерной мягкости и безволии. Он соглашался и с ними. Да, вольнодумство вредно России. Я не желаю, чтобы она шла по стопам мятежных стран. Я не желаю, чтобы Европу сотрясали революции, надо иметь сильную коалицию против возмутителей спокойствия! С ним тоже все соглашались. Но продолжали забавляться вольтерьянством, переписывали стихи, оскорбительные и едкие, пересказывали обидные анекдоты. Из тех, кто сражался с Наполеоном, кто доказал свою верность отчизне и государю на полях сражений, остались немногие. Среди них самым надежным после Аракче-

ева император считал графа Милорадовича, потому и поручил ему и столицу, и гвардию...

В тот апрельский день, когда решалась судьба Пушкина, Александр стоял в своем кабинете, погруженный в раздумья, и не сразу увидел, что военный генерал-губернатор граф Милорадович появился в проеме дверей. Как он вошел, император тоже не слышал. Легкая глухота, которой страдал государь, была некогда вызвана артиллерийской стрельбой. Александр умело использовал эту глухоту. Он всегда мог сделать вид, что не слышит то, чего не хотелось слышать. Но Милорадовича он ждал. Император любил этого высокорослого смуглого рыцаря. Он и сам был высокого роста и в людях низкорослых всегда подозревал излишний карьеризм, все они носили в себе комплекс Наполеона, который был коротышкой.

Заложив руки за спину, Александр, сделав круг по просторному кабинету, наконец увидел графа, постарался улыбнуться, распрямился и поспешил навстречу, первым протягивая руку. Милорадович осторожно, словно хрупкий дар, задержал в своей ладони нежные пальцы императора. Милорадовичу импонировали выправка государя, его улыбка. Он всякий раз убеждался, что не зря Александра

называют Ангелом. Но как воспримет Ангел стихи, Милорадович не знал. Ему не хотелось вызвать гнев императора, и речь о стихах пошла не сразу. Говорили о настроениях в гвардии, о выплате содержания кирасирам.

— Не станет ли гвардия, — заметил император, — которой мы с вами, граф, гордимся, источником смуты?

Милорадович стал успокаивать. Заверил: конногвардейцы и гренадеры души в своем государе не чают, все генералы сердцем с вами, вам не представится случая разочароваться в вашем воинстве! Император позволил себе усомниться: слишком много различных обществ, воин должен служить, а не писать философские трактаты. Более того, на Юге затеяли обучать солдат, завели ланкастерские школы. Скоро и солдаты начнут писать стихи. И речь зашла о возмутительных стихах Пушкина — найдены ли? Милорадович улыбнулся, он мог обрадовать императора — все стихи принес, написаны рукой самого поэта. Стал объяснять, что простил поэта от имени государя. Простил за рыцарский поступок. Поэт ничего не скрыл. За рыцарство надо прощать! Весь Петербург с восторгом воспримет эту милость царя! И Пушкин впредь не осмелится сочинять столь неразумные стихи!

Александр протянул руку, Милорадович вынул из-за обшлага мундира исписанные поэтом листки и подал царю.

— Здесь все, что разбрелось в публике, но вам, государь, лучше этого не читать! — сказал и отступил на шаг, склонив голову.

— Вы поторопились — не рано ли? — сказал Александр. — Вы поторопились объявить прощение! — И голубые ангельские глаза вдруг стали стеклянными, невидящими.

Когда аудиенция кончилась и Милорадович сбежал по отшлифованным ступеням дворцовой лестницы к стоящей в начале липовой аллеи карете, он еще не знал, каким будет окончательное решение государя, но понял, что за свои слова может лишиться милости. Ибо что будет, когда император прочтет скабрзные вирши, о каком прощении может идти речь — не кончилось бы все Сибирью...

Опасения генерала имели немалые основания, появились доводы и в пользу такого решения — Сибирь! Но император не хотел встречать осуждающие взгляды Карамзина и Жуковского. Жуковский, любимец императрицы, был в фаворе, да и заслуживал этого: что может быть лучше «Певца во стане русских воинов». Называет Пушкина любимым

своим учеником. Император не мог ему отказать.

И тут удачно подоспел со своим советом Каподистрия из Коллегии иностранных дел, ведь Пушкин числился у него на службе, и вот решение: чиновника десятого класса Пушкина направить в распоряжение гласного попечителя колонистов южного края Инзова. Была составлена соответствующая депеша — и все успокоилось. Наверное, никто из них не думал, что потом в истории литературы нашей назовут это ссылкой! Ведь это было даже не наказание, а спасение поэта.

Но для Пушкина все это было действительно ужасно. Поэт был взбешен, он метался по весеннему Петербургу, рвался во дворец. Его можно было увидеть повсюду — яростный взгляд больших глаз, растрепанные бакенбарды, грозный оскал белых зубов, неизменная трость в руках. Он искал оскорбителя по всему городу. Предметом его поисков был не император, а Федор Толстой, прозванный *Американцем*, скандалист и дуэлянт. Это он, Толстой, пустил слух по всему Петербургу о том, что поэта вызвали в канцелярию и там высекли. Слух обрастал подробностями. Пушкина душила ярость. Оказалось, что Толстой сейчас в Москве, — попасть туда было не-

возможно. Торопили, гнали на Юг, грозили увезти силой. Уехать неотомщенным, слышать едкие шепотки за спиной, терпеть оскорбления было немыслимо, но сделать что-либо Пушкин был не в силах... ДуэльнЫе пистолеты он взял с собой, упаковал в саквояж, думал — вдруг удастся вырваться хотя бы на день в Москву, найти клеветника...

Юг был для поэта ссылкой, Юг был унижением... Но что случилось бы, если б удалось поэту добиться милости царя и остаться в Петербурге; что случилось бы, если бы он вырвался в Москву и нашел там Американца — Толстой стрелял без промаха. Даже подумать об этом страшно...

На Юге Пушкин обрел многое: тепло и дружбу семьи Раевских, любовь синеглазой итальянки Амалии Ризнич, свободную стихию моря, круг вольнодумцев — от Пестеля до Муравьева-Апостола...

На Юге он многое мог услышать о графе Милорадовиче. Говорили о нем те, кто сражался бок о бок с храбрым генералом. Рассказывали, как в Итальянском походе при штурме Альт-Дорфа, когда отступающие французы подожгли мост, чтобы задержать русских солдат, все замешкались у пылающего моста. Милорадович, выхватив шпагу, ринулся

в огонь. Гренадеры устремились за своим генералом. Рассказывали, как он ходил в атаки в парадном мундире, увешанном орденами, с яркой Аннинской лентой. Вспоминали и о том, что в Италийском походе спас он великого князя Константина.

Читали все с упоением стихи Василия Андреевича Жуковского из его знаменитой поэмы «Певец во стане русских воинов»:

**Наш Милорадович, хвала!
Где он промчался с бранью,
Там, мнится, смерть сама прошла
С губительною дланью...**

Пушкин внимал рассказам, все запоминал — история уже начинала интересовать его. Но пока захлестывали стихи. Они рождались по ночам. Их надо было только успеть записать. Правда, потом многое не нравилось. Тогда он перечеркивал строки, писал поверху, снова перечеркивал. Хотелось написать столь же звучно, как Державин. Написать о русских чудо-богатырях. Завидовал прошедшему времени. Почему не дано было вот так же, как Милорадовичу, помчаться в самую гушу сражения, доказать, что не только стихи можешь писать, что нет у тебя страха, что рожден для бурных битв. А он даже лишен возможности

отстоять свою честь! Будь на его месте Милорадович, наверняка уже пронзил бы шпагой пасквилянта. Здесь, в пыльной Одессе, тоже многим бы не поздоровилось. Вокруг сплошные лжецы и казнокрады! И все же — прекрасно море, и женщины на Юге еще прелестнее, чем в Петербурге. Это вам не Сибирь! Пушкин понимал, что Сибири удалось избежать благодаря заступничеству Милорадовича. Гонителем казался поэту Александр. Пушкин сочинил такие строки об этом императоре, что никто уже не назовет его Ангелом:

**Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда.**

Здесь, на Юге, где томился Пушкин, немало опасных баталий обрел тот, кого называли рыцарем без страха и упрека. Здесь начиналась слава генерала Милорадовича, самого молодого генерала суворовской эпохи. Многие помнили его марш-бросок от Днестра до Валахии, его баталии под Будапештом, когда с двух сторон неудержимыми лавинами двинулись к городу турки. Упреждая противника, по-суворовски, Милорадович выступил на встречу верховному визирю и разбил его ар-

мию, а потом пришла очередь паши. За эту победу Милорадович был награжден золотой шпагой с алмазами и надписью: «За спасение Будапешта». Рассказывали ветераны и о необыкновенной храбрости генерала, который мог на поле боя спокойно раскуривать длинную трубку, повязанную богатой шалью, и распоряжения отдавал мгновенно и хладнокровно. После боя сыпал пригоршнями червонцы раненым солдатам, как своим, так и вражеским, взятым в плен.

Часто обращался поэт в своих раздумьях к войне двенадцатого года. Жадно слушал рассказы и о Кутузове, и о Барклае. Знал о том, как не раз сталкивался Милорадович с Барклаем. И все же признал Милорадович, что именно Барклай достоин стоять во главе армии. Это было, когда уже не стало Кутузова, когда сражались с Наполеоном за пределами отечества. Главнокомандующим русской армией был назначен граф Витгенштейн, хотя три генерала были старше его чинами — и Барклай, и Блюхер, и Милорадович. Поражение под Бауценом было следствием беспечности Витгенштейна. Все видели, что он бездарен. Видели и молчали. И только Милорадович явился к главнокомандующему и сказал ему прямо в глаза:

— Зная благородный образ ваших мыслей, я намерен объяснить с вами откровенно. Беспорядки в армии умножаются ежедневно, и благо отечества требует, чтобы на ваше место назначили другого главнокомандующего.

Витгенштейн воспринял эти слова без раздражения, сказал, что готов служить под начальством любого, кого император определит на его место. И тогда Милорадович изложил положение дел царю и настоял на том, чтобы армию возглавил Барклай. Царь согласился...

Записал ли Пушкин эти рассказы?.. Пути генерала и поэта более не пересекались. Однако был день, когда судьбы их могли соединиться. Роковой день для многих друзей Пушкина и для генерала Милорадовича...

После конфликта с Воронцовым Пушкин был уволен со службы и за все накопившиеся «грехи» отправлен в иную ссылку — в псковское имение село Михайловское, под надзор тамошних властей. Тяжкое и бессмысленное наказание гения, попытка отлучить его от общества, закончившаяся взлетом творческой мысли, ибо там, в Михайловском, были созданы многие гениальные его творения...

II. ГУБЕРНАТОР ДЕКАБРИСТСКОГО ПЕТЕРБУРГА



Петербург без Пушкина был уже не тем Петербургом. Скучнее стало в салонах, реже раздавался смех, да и у великосветских дам стало меньше поводов для ослепительных улыбок. Милорадович этого не замечал. Все салоны и балы ему заменял театр. Граф часто увлекался. Он был холост и для многих дам представлялся завидной партией. Но ему было скучно среди разряженных невест. Всех их он променял бы на одну Катеньку Телешову. Из робкой и застенчивой воспитанницы театрального училища она на глазах превратилась в настоящую красавицу. Добился того, что ей стали давать первые роли в императорском театре. Танцевала она легко и изящно.

Руки у нее были чудесные. Устоять перед любыми ее просьбами граф не мог. Телешова потеснила даже Новицкую, та хоть и была красива и талантлива, но слишком уж безукоризненного поведения, никого к себе даже близко не подпускала. Был создан театральный комитет, распоряжающийся всеми постановками, во главе этого комитета встал сам Милорадович. Бывали дни, когда губернатора и вовсе не видели в его кабинете, ибо заседал он в доме директора театров Аполлона Майкова. Старался Милорадович показать себя либералом, ничего не запрещал. Сидел на заседаниях молча, курил свою неизменную трубку, но, оставшись наедине с Майковым, неожиданно менял все решения. И если Майков не соглашался или актрисы бунтовали, вот тогда и показывал губернатор свою власть. Актера Каратыгина, проявлявшего неуважение к Майкову, даже приказал посадить в крепость под арест. Правда, через двое суток актера выпустили. Так, постращали, чтоб был покладистее. Некоторые актрисы пытались даже жаловаться императору, но Александр смотрел на увлечения своего губернатора сквозь пальцы. Приходилось Милорадовичу и с авторами пьес сталкиваться...

Летом 1824 года появился в Петербурге Грибоедов, чиновник, известный по своим персидским делам. И на вид такой собранный, всегда в черном фраке, взгляд из-под линз очков рассудительный, но оказалось — внешность обманчива. Был это человек насмешливый и дерзкий. Такие же возмутительные стихи сочинял, что и Пушкин. И звали Грибоедова так же, как опального стихотворца, — Александр Сергеевич. Сочинил комедию «Горе от ума», а фактически собрал вместе все свои эпиграммы и насмешки. И жаждал, чтобы эту комедию поставили на императорской сцене.

Жил Грибоедов поначалу в гостинице у Демута, но потом большую часть времени проводил в доме Булатова на Исаакиевской площади, где обитал его двоюродный брат, корнет конногвардейского полка Александр Одоевский. Восемь комнат занимал корнет и наводнял по вечерам эти комнаты актрисами. Тоже писал стихи. Да и кто тогда не занимался рифмачеством?! Но Грибоедов был для всех этих стихоплетов идиолом, его буквально на части разрывали — не осталось салона в Петербурге, где бы не читал он своей комедии. Милорадович, хотя и приносили ему списки с этой пьесы, читать их не стал. Почему-то принято было считать, что губернатор любит

стихи, утверждали, что и сам он пишет, что было явной выдумкой. Говорили, что живет он, Милорадович, как поэт, — легко и раскованно. Но тогда Грибоедов вовсе не похож на поэта — слишком замкнут.

Милорадович, встретив как-то Грибоедова в театре, где знаменитая Колосова читала сцены из Мольера, пригласил отобедать вместе. Стоял жаркий день, в Петербурге было сонно и пыльно, поехали в Петергоф, где воздух освежали многочисленные фонтаны. Грибоедов говорил о Кавказе. Там, на Кавказе, наместником был Ермолов. Человек непредсказуемый и непокорный, должен он был стать военным министром, государь уже указ об этом заготовил, но испугался Аракчеев, отговорил. Два медведя не смогли бы ужиться в одной берлоге. Но Милорадовичу было бы намного легче, если бы рядом был именно Ермолов. Вместе стояли под ядрами на Бородинском поле. А под Вязьмой устроили французам такую кровавую баню, что те уже не могли оправиться. Наполеон отступал в полном беспорядке. Маршал Даву оказался в мешке. Терять ему было нечего — сомкнутыми колоннами шли французы напролом. Тут и брызнули им в лицо картечью три конные батареи. Даву бежал, бросив обозы. Горела Вязьма. Французы за-

сели в домах, повсюду рвались бомбы и гранаты, визжала картечь... Ударили в штыки, Ермолов мчался рядом — тоже не любил кланяться пулям. Серый пепел смешивался с падающим снегом, снег покрывал кровь, пленные французы жалко кутались в шали и платки, кричали друг на друга, делили мясо убитых в бою лошадей... Это была уже не армия непобедимого Наполеона. Тогда думали, что конец, не будет больше никакого сопротивления. А впереди предстояло столько сражений, битвы народов — Лейпциг, Кульм...

Грибоедов говорил о Ермолове с восторгом. Обед затянулся. Милорадович, обычно не придававший значения еде, на этот раз заказал самые изысканные блюда. Пили крымское вино. Один из умнейших людей России — так сказал этот поэт и чиновник о своем начальнике Ермолове. И добавил: «Мало того, что умен, нынче все умны, но совершенно по-русски, на все годен... Окружен глупцами и не глупеет...» И в то же время чувствовалось, что Грибоедов не понимает Ермолова. Неодобрительно отозвался о его тактике покорения горцев, сказал, что действовать страхом и щедротами можно только до времени и что одно строжайшее правосудие мирит покоренные народы со знаменами по-

бедителей. Милорадович усмехнулся: все твердят о правосудии, когда его и в Петербурге трудно сыскать, а если ничего не будут бояться, то и здесь начнут резать друг друга. Милорадович ждал, что Грибоедов попросит содействия в постановке своей уже столь нашумевшей в Петербурге комедии. Но вопроса прямого задано не было. И тогда Милорадович сам сказал, что надеется увидеть комедию на сцене, и пообещал поговорить с цензорами...

Для Грибоедова главным делом, которое держало его в Петербурге, было продвижение своей пьесы. Он читал ее Крылову, Колосовой, Булгарину, все отзывались восторженно, но никто не мог ничего решить. Говорили, что все зависит от директора канцелярии Министерства внутренних дел Максима Яковлевича Фока, но визит к нему был неутешительным. Чувствуя, что дело затягивается, Грибоедов снял квартиру в Коломенской части на Торговой улице. Настроение с каждым днем становилось все мрачнее. В письме Гречу Грибоедов писал: «Напрасно, брат, все напрасно. Я приехал от Фока, то с помощью своею и Одоевского изорвал в клочки не только статью, но даже всякий писанный листок моей руки, который под рукою случился... Коли цен-

зура наша не пропустит ничего порядочного из моей комедии, нельзя ли вовсе не печатать? — Или пусть укажет на сомнительные места, я бы как-нибудь подделался к общепринятой глупости, урезал бы; и тогда весь третий акт можно поместить в альманахе...» Сочувствующих и приятелей было много — настоящих друзей почти не было. Сошелся близко с гвардейскими офицерами Мухановым и Александром Бестужевым — для тех комедия обретала свой смысл, в их кругу только и разговоров что о падении нравов и стеснении общества цензурой и произволом. Чацкий, главный персонаж комедии, пришелся им по душе. Расспрашивали о настроениях Ермолова, всех их связывали какие-то тайны, в которые не хотелось вникать...

Кого очень не хватало рядом, так это Пушкина — вот чья оценка была бы наиглавнейшей, одна его ода «Вольность» стоит всей пьесы. С Пушкиным Грибоедов сошелся еще в 1817 году, когда вместе в Коллегии иностранных дел принимали присягу. Служба казалась смешной и тяготила их обоих. Часто встречались они на вечерах у драматурга Шаховского. Стихи Пушкина и теперь не забыты, куда ни придешь, везде разговор заходит о его дерзких эпиграммах. Впрочем,

сейчас стали и отдельные места из ненапечатанной грибоедовской комедии заучивать — порой декламируют и не знают, кто автор... Обидно, и хотелось на все плюнуть и уехать к Ермолову, там все было проще...

Пыльное и жаркое лето сменилось дождливой осенью. Не стихали пронзительные, сырые западные ветры. Вода в Неве стала прибывать. Заливало подвалы и нижние этажи домов, стоящих вдоль многочисленных каналов. На Галерной улице волнами снесло две казармы. Смоленское кладбище размыло, и по улицам поплыли к взморью гробы. Такого сильного наводнения город не видел за всю свою историю. Выстрелы крепостных пушек оповещали горожан об опасности. Кареты и дрожки плавали по улицам. Потом появились шлюпки. Царила паника. Гвардейские офицеры пытались навести порядок, спасали тонущих людей. Дом в Коломенской части, где обитал Грибоедов, полностью затопило. Ему пришлось выбираться вплавь. Зацепился за плывущее мимо спасительное бревно, но оно оказалось настолько скользким, что почти тотчас выскочило из рук. На счастье, Одоевский словно чувствовал, что друг в беде. Вместе со своими конногвардейцами добрался до Коломенской части, как был, в мундире,

бросился в воду — сам не очень-то умел плавать, но вдвоем стало уже не так страшно... Вместе, поддерживая друг друга, выбрались на кровлю погруженного в воду дома, потом на шлюпке добрались до гвардейских казарм. Выпили грога, отогрелись, и сразу же заспешили опять туда, где бушевала стихия. Спасали людей гвардейцы и добровольцы. Больших чинов было не видно, словно попрятались они все в высоких дворцах. Искали повсюду Милорадовича. Кто-то видел, как граф в самом начале наводнения умчался в Екатерингоф...

Полностью залило водой Адмиралтейскую сторону, площади превратились в озера, улицы — в реки, плавучие мосты через Неву были сорваны. Наконец на двенадцативесельном катере появился Милорадович. В распахнутом мундире, огромный, весь мокрый, стоял в носу и честил всех на чем свет стоит. Катер носился у Зимнего дворца, людей вытаскивали из воды, свозили во дворец. Отовсюду раздавались мольбы о помощи — с деревьев, с фонарей, с крыш. Милорадович был мрачнее тучи. Все были виноваты, — правда, в чем их вина, никто не догадывался. А граф просто злился сам на себя. Угораздило же его умчаться в Екатерингоф спасать свою очередную пассию — теперь злые языки повсю-

ду треплют его имя... Конечно, дошло все и до Катеньки Телешовой. И та отомстила...

После наводнения, вплоть до самого Рождества, было не до театральных постановок. Милорадович занимался скучнейшим делом. Все департаменты взялись подсчитывать убытки. Приносили на утверждение кипы бумаг, исписанных цифрами. Были образованы специальные комитеты и комиссии по учету ущерба. Чиновники сочиняли акты, где списывали все, что удалось ранее расхитить. Стремилась все утаить за счет наводнения. Милорадович посадил всех адъютантов сверять акты. Казнокрадов честил последними словами, в гневе был он страшен...

Аракчеев старался напеть государю, что во многом виноват губернатор: мол, не смог предусмотреть, не смог заранее принять меры. А какие меры можно принять против стихии — ветру не прикажешь с какой стороны дуть. И во всем этом бедствии был какой-то знак Божий, словно предупреждала стихия город: большое несчастье еще впереди...

Страшнее наводнений могли быть и пожары. Но здесь Милорадович все предусмотрел. Организовал в столице пожарное депо. Для оповещения о пожарах вывешивались специальные черные шары. Проверяли, есть

ли в домах инструменты на случай пожара — такие инструменты изготавливались в пожарном депо и бесплатно раздавались домовладельцам. Милорадович лично сам выезжал на тушение любого пожара. Стихия огня напоминала ему о прошедших битвах. И почти на каждом пожаре видел он тучного человека в котелке, стоящего поодаль и смотревшего в огонь неподвижным взглядом. То был знаменитый баснописец Крылов, который тоже ни одного пожара не пропускал...

За годы своего губернаторства Милорадович открыл в столице больше пятидесяти домов «для спасения утопающих». Свозили туда не только спасенных из воды: приют в них был обеспечен бездомным и тем, кого находили на улицах в бессознательном состоянии, кто получал ушибы и различные травмы. Были при этих домах специальные лекари, которые оказывали первую помощь несчастным.

Занятый всеми этими делами, Милорадович смог выбраться в гости к Шаховскому лишь после Нового года. Там и увидел сочинителя Грибоедова рядом с Катенькой Телешовой. Та бесстыдно строила глазки, снимала с Грибоедова очки и хохотала. Присутствия графа словно не замечала... Катенька флиртовала, чтобы позлить Милорадовича, а Гри-

боедов влюбился по-настоящему. Не пропустил ни одного спектакля с ее участием. Когда человек влюблен, все у него начинает ладиться, во всем начинает везти. Андрей Жандр, занимающий важный пост в департаменте морского министерства, решил помочь Грибоедову. Поручил своим писцам переписку пьесы. Теперь было много экземпляров. Какая разница — в типографии изготовлены или переписаны? Один экземпляр отдал Пушкину, который собирался навестить в Михайловском своего лицейского друга — опального поэта. Несколько экземпляров раздал актерам. Наконец, в вышедшем в Петербурге альманахе «Русская Талия» были напечатаны отрывки, правда, в искаженном и урезанном виде. Грибоедов поначалу вспыхнул, хотел предъявить претензии, но потом махнул на это рукой. Все равно теперь в Петербурге почти все в театральных кругах знали истинный текст. И на сцену комедия прорывалась. Ученики Театрального училища решили поставить спектакль у себя в зале. Разучили роли, сделали декорации. На последнюю репетицию пригласили Грибоедова, он был счастлив в этот день, но счастье это длилось недолго. Перед самым представлением явился в зал инспектор Бок и объявил приказ генерал-

губернатора Милорадовича: постановку запретить...

Для такого решения было много поводов, и не только в Катеньке Телешовой было дело. Постарались злые языки. Наговорили, что выведен генерал в комедии. И Скалозуб, и Фамусов, мол, повторяют слова Милорадовича. Это ведь его, Милорадовича, любимое выражение: «Подписано — так с плеч долой!» И слух по столице пустили, как Милорадович подписал сочиненное шутниками послание. Действительно, подсунули однажды челобитную: «Его сиятельству господину санкт-петербургскому губернатору генералу от инфантерии графу М. И. Милорадовичу от ямщика Ершова покорнейшее прошение. Бесчеловечные благодеяния вашего сиятельства, пролитые на всех, аки река Нева, протекли от востока до запада. Сим тронутый до глубины души моей, воздвигнул я в трубе своей жертвенник, перед коим стоя на коленях, сожигаю фимиам и вопию: ты еси Михаил, спаси меня с присносущими. Ямщик Ершов». Начертал Милорадович, не читая, свою привычную резолюцию: «Исполнить немедленно». А Грибоедову над всем надо посмеяться, все в свою комедию вставить, ради красного словца никого не пощадит...

Грибоедов, вконец расстроенный и удрученный, возвращался к месту службы. Катенька Телешова быстро забыла слишком умного человека в черном фраке. Милорадович был ею прощен и вновь проводил вечера в доме директора театров Майкова, где жила юная соблазнительница... Милорадович был прощен не только Катенькой Телешовой: император, несмотря на постоянные жалобы Аракчеева, ничего не вменял в вину графу и даже в очередной раз заплатил его долги.

От Милорадовича многое зависело в столице, он мог изменить ход истории — мог, но не сумел, ибо история не любит, когда становятся у нее на пути... И все же именно личность влияет на ход истории. Деяния, жизнь этой личности и даже смерть. Если бы не внезапная кончина императора Александра I в Таганроге, случившаяся 27 ноября 1825 года, разве возможно было бы столь бурное брожение, разве смогли бы вывести вольнодумцы войска на Петровскую площадь и встать в молчаливое, но грозное каре близ Сената...

Александр умер, не оставив прямого наследника. По закону на престол должен был взойти его брат Константин — он оставался старшим среди сыновей Павла I, — но в то же время знали многие, что есть тайное заве-



Великий князь Константин.
Гравюра 1825 года



Николай I.
Гравюра 1826 года

щание Александра в пользу другого брата — Николая... Мог ли предугадать Милорадович, что его действия, его стремление возвести на престол боевого своего товарища Константина обернутся залпами картечи и большой кровью? Вряд ли...

Еще даже не пришло известие о кончине императора — только сообщение от генерал-адъютанта барона Дибича из Таганрога о том, что император плох, как Милорадович сразу же собрал совещание — вызвал к себе командующего гвардией Воинова, дежурного генерала Главного штаба Потапова и начальника штаба Гвардейского корпуса Нейдгарта. Решили держать это страшное известие в тайне. Вечером Милорадович пришел в Аничков дворец к великому князю Николаю — тот играл с детьми. Николай вышел в приемную комнату и сразу догадался: внезапный визит неспроста. Спросил: «Что случилось, Михаил Андреевич?» Милорадович протянул письмо от Дибича и сказал: «Император умирает, остается лишь слабая надежда...» Здесь же, при встрече этой, был и Воинов. Великий князь Николай, справившись с охватившим его волнением, стал говорить о своем праве на престол. К его удивлению, Милорадович отвечал резко и дерзко. Стал объяснять, что по

законам империи наследовать должен старший из сыновей. Николай говорил о завещании. Милорадович и слушать не хотел его доводов. И Николай сдался. За спиной Милорадовича стояла гвардия, спорить — значило становиться на крайне опасный путь.

Милорадович слишком был уверен, что гвардия, да и все остальные войска, расквартированные в Петербурге, будут повиноваться ему беспрекословно; он был уверен, что гвардия хочет видеть на престоле только Константина. Константин Милорадовичу был понятен и близок. С великим князем пройден не один поход, с ним пробивались штыками в Альпах, вместе сражались с неукротимым корсиканцем. Николай был из другого поколения, он не знал, что такое воинское братство, не нюхал пороха, в нем не было ничего рыцарского, он был жесток и слишком пунктуален, с ним нельзя было быть откровенным, он не прощал промахов. Константин слишком долго отсутствовал — он был наместником в Варшаве. Все неблагоприятные поступки Константина стерло время. Да и не считал их чем-то из ряда вон выходящим генерал Милорадович. Ну женился на польской дворянке — с кем не бывает! Уж на что честен и чист был император Александр, а ведь, охладев

к жене, почти открыто жил с Марией Нарышкиной, — тоже, кстати польской княгиней, — и даже дочка была, красавица, жаль, умерла в самом своем расцвете, в восемнадцать лет. Государю сочувствовали, императрица была бездетной, никто не ставил в укор связь с Нарышкиной...

Милорадович даже и думать не хотел о том, что Константин откажется от престола. И в этом был основной просчет графа.

Получив известие о кончине императора Александра, Милорадович в парадном мундире, надев почти все свои ордена, примчался во дворец. Великий князь Николай был в растерянности. Милорадович действовал быстро и решительно:

— Ваше высочество, вы должны подать пример России, вы должны первым присягнуть на верность императору Константину — законному наследнику престола.

Николай вытер скупую слезу, попытался что-то объяснить, он колебался, говорил о пакетах с завещанием, которые хранятся в Сенате и в Москве, в Успенском соборе. Милорадович и слушать ничего не хотел.

— Присягнем в верности нашему императору, — голосом, привыкшим отдавать команды на плацу и в битвах, гремел в дворцовых залах

Милорадович. — Потом будем читать бумаги! Сперва исполним свой долг! Произнесем присягу, которую требует от нас закон. Исполним закон о престолонаследии! Россия не должна и дня оставаться без императора — брожение в умах и так достигло предела!

Николай вынужден был подчиниться. Не прошло и десяти минут, как Николай и генералы уже стояли подле приведенного священника. Отец Криницкий словно был предупрежден заранее. Глухим голосом он начал читать присягу...

После обеда собрался Государственный совет. Как обычно, начались споры. Требовали вскрыть пакет с завещанием Александра — знали, что престол завещан Николаю. Милорадович успел вовремя. Своим громовым голосом перекрыл все споры. О чем рассуждать? Его императорское высочество Николай уже присягнул Константину Павловичу. Войско принимает присягу Константину. «Я советую господам членам Государственного совета прежде всего тоже присягнуть, а потом уж делать что угодно!» Воцарилось молчание. Уяснили, что гвардия уже подготовлена к присяге. Вспомнили, что все в России может решить гвардия. И все же потребовали присутствия Николая, хотели из его уст услышать.

Пошли даже во дворец и там убедились, что надо слушаться генерал-губернатора.

Николай, держа руку над головой, словно взывая к небу, белый, как лист бумаги, сказал:

— Для спокойствия государства, я вас прошу, я вас убеждаю — немедленно присягните Константину. Я никакого другого предложения не приму и ничего другого и слушать не стану.

Николай помнил, как убили его отца, императора Павла. Там тоже командовал генерал-губернатор — Пален. У Палена было всего несколько десятков гвардейцев, у Милорадовича вся гвардия, прикажет — и прощайся с жизнью.

Весть о присяге Константину была встречена с одобрением. Константин был далеко, в Варшаве. Все его былые буйства как-то забывались. Поговаривали, что он хочет отменить крепостное право, — выдавали желаемое за действительное. Но были и неоспоримые факты: в Польше солдаты служили не двадцать пять лет, а всего восемь. И солдатское жалованье там было намного выше. И конституция была в Польше. Правда, даровал ее Александр, но всё же... Надеялись, что внешняя политика изменится. Хватит лезть в европейские дела. Кому нужен этот Свя-

щенный союз? Губить солдат за то, чтобы монархи европейские сидели спокойно на своих тронах? Да и аракчеевские военные поселения всех возмущали. Даже не совсем благовидные выходки Константина вдруг приобретали иное значение. Вспоминали, как Константин на полковом учении с поднятым палашом наскочил на поручика Кошкуля, чтобы зарубить строптивного офицера. Поручик вышиб из рук Константина палаш и крикнул: «Не извольте горячиться!» Учение тотчас прекратили. Константин удалился во дворец. Туда вызвали поручика Кошкуля. Тот ожидал расправы за дерзость, однако Константин обнял его, стал благодарить и сказал, что поручик спас его честь. Мало того, Константин извинился перед офицерами и объявил, что готов каждому дать удовлетворение, то есть сразиться с любым на дуэли... Это было по-рыцарски. Николай за свои грубости никогда не извинялся. Напротив, был мстителен. Любое неповиновение наказывал жестоко и продуманно.

Разговоры обо всем этом велись в штабе, велись повсюду. Открыто восхищались Милорадовичем, видели в нем спасителя отечества, восторгались его смелостью, ибо понимали, что предотвращена смута. Гвардия не хотела видеть на престоле Николая.

Князь Шаховской сказал Милорадовичу:

— Вы поступили как истинный рыцарь, граф. Но что, если Константин настоит на своем отречении. Тогда присяга будет как бы вынужденной. Вы слишком смело поступили, граф!

Милорадович усмехнулся, приобнял князя за плечи и сказал доверительно:

— Имея шестьдесят тысяч штыков в кармане, можно говорить смело! — При этом он ударил себя по карману, словно там была спрятана вся гвардия.

Так началось междоусобие. Константин не собирался появляться в Петербурге и не желал возлагать корону на свою голову. Этого Милорадович от своего боевого товарища никак не ожидал. Из Петербурга в Варшаву мчались курьеры один за другим. Вести были неутешительные. Константин приходил в ярость, когда его именовали императорским величеством. Милорадович приказал тотчас докладывать все известия, приходящие из Варшавы. Теплилась надежда, что генералы из окружения Константина все-таки уговорят его принять престол. Но резкое письмо Николаю, которое привез в Петербург адъютант Лазарев и содержание которого тотчас стало известно Милорадовичу, разрушало последние

надежды. «Мое решение непоколебимо...» — писал Константин о своем нежелании принять престол и категорически отказывался прибыть в Петербург.

— Я на него надеялся, а он губит Россию! — воскликнул Милорадович.

Гибла не только страна, о которой так печалился генерал-губернатор, летела псу под хвост вся его жизнь: Николай никогда не простит своего унижения... Одна оставалась надежда — на гвардейские полки...

В войсках началось брожение — там готовилось восстание. Милорадович не мог об этом не знать. Крамола существовала под боком. В Главном штабе подле Глинки все время крутились те, чьи имена упоминались в многочисленных доносах. Здесь был и подпоручик князь Оболенский, и фон дер Бригген, и князь Трубецкой, и полковник Булатов.

Милорадович невольно ловил отдельные высказывания, слышал отрывки яростных речей, произносимых рядом с его кабинетом. Мало того, в Генеральном штабе устроили библиотеку, стали выпускать свой журнал. Заметил как-то Глинке: вокруг одни писатели, а записку или доклад приходится сочинять самому.

Опять всплыло имя Пушкина, стихи его читались и на балах, и в театре, и даже здесь, в Главном штабе, с упоением повторяли:

**Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!**

Витийствовали повсюду, словно взбадривая друг друга словами. Заигрывали с нижними чинами. Все распустились. А где нет строгости, там нет службы... Из Генерального штаба передали пакет: целый список заговорщиков — Северное и Южное тайные общества, — и среди них участники войны: Орлов, Пестель, Юшневский, Муравьевы... Милорадович брезгливо откинул список, потер пальцы, словно избавляясь от грязи — генералу не пристало читать доносы. Есть тайная полиция. Это забота Фогеля. Фогель, рыжий толстяк, ежедневно торчал в приемной. Глинка его выгонял — бесполезно, являлся снова. Просил увеличить жалование и прибавить число соглядатаев. У Фогеля было всего несколько человек. Милорадович слушать Фогеля не желал. Зачем нужны шпионы и соглядатаи? Любой честный офицер всегда сумет пресечь в самом начале открытый бунт.

Да и кто осмелится поднять войска? Пустые разговоры ничего не решают. А припугнуть Николая стоило бы... Просто выстроить гвардию перед дворцом, со знаменами, барабанами, — и прокричать разом: «Ура Константину!» Но разве догадаются...

Милорадович был уверен, что дальше красивых слов вольнодумцы не пойдут, что никакого вреда от их прожектов нет, что Константин эти прожекты может даже поддержать. Милорадович, к примеру, и сам не был сторонником аракчеевских военных поселений, и сам полагал, что крепостное право должно быть отменено. Об этом и покойный государь часто говорил. Народу надо дать послабление. А иначе многие отвернутся от своего отечества.

Война с французами это показала. Когда вошли в Европу, увидели царящие там свободы, иную жизнь, более сорока тысяч солдат покинули тайно свои полки, сбежали, не вернулись на родину. Рабства терпеть никто не хочет. Он, Милорадович, сразу после победительной войны дал вольную своим крестьянам, широко это не афишировал, но покойный государь это знал и даже одобрил такой поступок.

Главными врагами России Милорадович считал не вольнодумцев, не прожектеров-офи-

церов и сумасбродных поэтов, что составили тайные общества, а казнокрадов. С ними он и боролся, как мог, но уследить за всеми было невозможно, казнокрадам повсюду способствовали люди с густыми эполетами, высшие чины. Да и сами эти высшие чины были не прочь залезть в государственную казну. Начальник штаба флота Моллер, к примеру, за бесценок сбывал иноземцам парусину и корабельный лес, офицеры из Главного штаба торговали медью. Это здесь, в столице. А что делалось в губерниях — страшно было даже представить! И в этой стране вольнодумцы хотели учинить свои свободы — как полагал Милорадович, это было весьма преждевременно, ибо поначалу надо пересажать всех казнокрадов и отменить рабство, дав землю крестьянам, а потом думать о свободе тиснения журналов и книг. Хотя, полагал Милорадович, и свободное тиснение порой необходимо. Вот отпечатать, к примеру, все крамольные стихи Пушкина, которые сейчас читают взхлеб и переписывают, издать их книгой, дать каждому — и пропадет всякий интерес, ибо сладок только запретный плод.

А пока — имя Пушкина было у всех на устах, мнение его передавалось от одного к другому и было превыше любых других

мнений. Даже письма Пушкина ходили по Петербургу и распространялись быстрее воинских приказов. Оказалось, что Пушкин мыслит о наследнике престола так же, как Милорадович. В письме из Михайловского, посланном Катенину, поэт сообщал: «Как верный подданный, должен я, конечно, печалиться о смерти государя, но, как поэт, радуюсь восшествию на престол Константина I. В нем очень много романтизма; бурная его молодость, походы с Суворовым, вражда с немцем Барклаем напоминают Генриха V. К тому ж он умен, а с умными людьми все как-то лучше; словом, я надеюсь от него много хорошего...»

Но увы, надежды на Константина с каждым днем таяли. Тот оставался в Варшаве и не хотел даже слушать о своем восшествии на престол. Россия долее не могла оставаться без императора. Была назначена переприсяга. Милорадович втайне еще продолжал надеяться, что гвардия не станет присягать Николаю, что Константин наконец поймет, сколь сложно положение, услышит зов своих сподвижников и предотвратит нависшую над Петербургом смуту.

В эти дни Милорадович не раз пытался вести весьма опасные разговоры с теми, кто командовал гвардией. Когда он встретил во

дворце принца Евгения Вюртембергского и они на мгновение остались наедине, Милорадович сказал:

— Боюсь за успех дела: гвардия очень привержена к Константину...

Принц поднял свои редкие брови и спросил, словно и не понимал, о чем речь:

— О каком успехе вы говорите? — И стал, суетно оглядываясь, нарочито громко объяснять, что ожидает естественного перехода престола к великому князю Николаю, коль скоро Константин настаивает на отречении. И доказывать, что гвардия здесь ни при чем.

Пришлось Милорадовичу замять разговор, согласиться:

— Совершенно верно, ей не следует тут вмешиваться, но она испокон веку привыкла к тому и сроднилась с такими понятиями.

Принц был слишком осторожен. Зато командующий гвардейской пехотой генерал Бистром не скрывал своей привязанности к Константину. Заявлял во всеуслышание, что никому иному не присягнет. Этот, как его называли, «идол гвардейских солдат», напротив, упрекал Милорадовича в нерешительности. Да, они были старые солдаты — и Милорадович, и Бистром, и Константин...

Милорадович знал о недавнем визите во дворец Ростовцева. Ростовцев, друг князя Оболенского, член Северного общества, предупредил Николая о готовящемся возмущении. Милорадович получил от Николая список глав тайного общества.

Все записные книжки графа Милорадовича и без того были исписаны именами заговорщиков — от князя Трубецкого до Кондратия Рылеева. Этих людей он должен был арестовать, но все еще медлил — он был уверен, что остается хозяином положения и в любой момент может предотвратить возмущение. Заговорщики ведь тоже были за Константина, во всяком случае, они хотели поднять войска именем Константина. Почти со всеми заговорщиками Милорадович был знаком, а с некоторыми даже накоротке, встречался в театрах, на балах, на заседаниях географического общества, в полках, в Генеральном штабе. Каждое утро граф проезжал по Синему мосту через Мойку рядом с домом Кондратия Рылеева, где в эти декабрьские дни образовался штаб грядущего восстания. Если бы сказали о Рылееве, что он главный, Милорадович бы только усмехнулся. Знаком был Милорадович с генерал-майором Михаилом Николаевичем Рылеевым, которому Кон-

дратий Рылеев приходился племянником, знал и отца Рылеева — командира Эстляндского егерского батальона. Оба отличались воинской сметкой и храбростью. Кондратий Рылеев не в них пошел. Хотя и закончил кадетский корпус, и в кампании 1814 года участвовал, а выше прапорщика не поднялся. Своими сатирами и эпиграммами всем в полку насолил — помнится, командир батареи подполковник Сухозанет просил отчислить из его части строптивного прапорщика. Так что военной карьеры не получилось. И сейчас в Российско-Американской компании им не очень довольны. Людей, променявших армейскую службу на штатские должности, а военный мундир на фрак, Милорадович в расчет не брал, полагал, что на реальные действия они не способны. Говорил Глинка, что Рылеев — поэт с большим будущим. Милорадович его читать не мог, после Пушкина и Жуковского вообще иное не читалось, исключение делал только для Федора Глинки, тот был свой человек и близок сердцу.

Этот-то свой человек и приваживал в штабе Якубовича, искавшего встречи с генерал-губернатором Петербурга. Якубович прибыл в северную столицу для лечения. В одной из схваток с черкесами он был тяжело ранен в

голову. Он был героем Кавказа. Его отправили туда в 1818 году, исключив из лейб-гвардии уланского полка. Якубович утверждал, что его выслали за участие в дуэли Завадовского и Шереметьева, на шумевшей в светских кругах, дуэли из-за танцовщицы, из-за ножек Истоминой, дуэли, где он, Якубович, был секундантом. Шереметьев был убит. Завадовский, принадлежавший к знатной семье, почти не был наказан. Секундант Завадовского, сочинитель Грибоедов, не сознался в своем участии. Отыгрались на Якубовиче. Но многие знали, что дуэль не главная причина. Слишком шокирующим было поведение этого уланского корнета. И сейчас он продолжал всех удивлять. Открыто говорил о тайных обществах, утверждал, что дружен с генералом Ермоловым. Намекал на то, что Ермолов готов двинуть свои полки на столицу и навести здесь порядок. Поговаривали даже, что Якубович замышляет цареубийство. Повсюду в обществе теперь мелькали его большие черные усы и черная повязка на лбу, повсюду говорили о его подвигах, — вернее, говорил он сам. В штабе Милорадович принять его отказался, как ни настаивал на том милейший Глинка. Но узок круг светского общества. Никто не минует театра и актрис.

Милорадович встретился с Якубовичем на свадьбе актера Воротникова, где был посаженным отцом. Все старались чокнуться с графом, за столом сидело много прелестниц, которых граф некогда осчастливил вниманием. Милорадович был здесь своим человеком и обычно на таких торжествах главенствовал за столом, но тут явился Якубович и никому не дал сказать и слова. Говорил сам, говорил громко, яростно, взмахивая рукой так, словно держал саблю, обо всем он был осведомлен, и хвастовству его не было предела. Милорадович обычно ставил на место слишком зарвавшихся хвастунов, но здесь почему-то заинтересовался необычным гостем, вспомнил, что в молодости сам был таким — говоруном и лихим рубакой, и когда кончилось застолье и женщины расселись играть в фанты, а люди солидные заняли карточные столики, граф отвел Якубовича в сторону, и они долго беседовали. Им несколько раз подносили шампанское, граф отказывался, а Якубович всякий раз брал бокал и эффектно возносил его над головой, провозглашая тост за Константина. Зашла речь и о тайных обществах.

— Я не любитель тайных обществ, — сказал Якубович, — один решительный человек полезнее всех карбонариев и масонов. Меня

оскорбили — и я хочу отмщения! — При этих словах Якубович вынул из кармана полуистлевший листок с приказом о его переводе из гвардии в армейский полк. — Вот пилюля, — продолжал он, — которую я восемь лет ношу у сердца! — И Якубович ударил себя в грудь и почти навалился на Милорадовича, сидевшего к тому времени в глубоком вольтеровском кресле. — Я знаю, вы лихой кавалерист, гвардия боготворит вас, я не против вас, я против Николая!

— Я тоже, — сказал Милорадович.

Якубович протянул руку. Милорадович встал. Разговор они продолжили в более доверительных тонах. Якубович, до того отвергавший даже мысль о тайных обществах, теперь дал понять, что держит все в своих руках, что измайловцы, преображенцы и моряки из гвардейского экипажа готовы идти за ним хоть в огонь, хоть в воду и что он никогда не предаст Константина и не присягнет никому другому, покуда Константин Павлович лично не приедет отказаться.

— Поверьте, вы не один так думаете, — сказал Милорадович.

Затем Якубович стал делать Милорадовичу смутные предложения, говорил, что не видит вокруг человека более достойного, чем

граф, что готов поддержать его, Милорадовича, если тот встанет во главе тех, кто не хочет переприсяги. Милорадович нахмурился и сразу пресек крамольные предложения, но разошлись они друзьями и долго жали друг другу руки. Якубович исчез, а Милорадович остался на свадьбе: он положил глаз на танцовщицу, совсем недавно принятую в театр, ее нежная шея и вишневые глаза притягивали графа.

Якубович же поспешил на квартиру к Рылееву, где уже не один час витийствовали предводители Северного общества. На Якубовича они возлагали большие надежды. Они считали, что он сможет поднять гвардию. Они полагали, что он дружен с Милорадовичем и поэтому сможет узнать точный день переприсяги, чтобы в этот день поднять восстание и, начав предприятие именем Константина, затем потребовать принятия конституции и отмены крепостного права. Якубович произносил страстные речи и клялся, что готов на все...

У Рылеева сидел еще один человек, от которого будут зависеть события в кровавый день 14 декабря. Это был отставной кирасир Петр Каховский. Его свел с Рылеевым Федор Глинка, тем самым невольно став звеном в цепи, приведшей к гибели любимого военачальника. Будущий убийца — одинокий, несчастный

человек с печальными глазами, брошенный всеми, жертва несчастной любви, — полностью разочаровался в жизни и был потому готов жертвовать собой. Он был беден настолько, что Рылеев даже заплатил портному, чтобы тот пошил камзол взамен вконец испорченного. Все у Каховского было в прошлом: и надежды на карьеру, и учеба в немецких университетах, и познания кантовской философии — все оказалось ненужным и никчемным. И он стал никому не нужен. И вдруг удача — заговор! Здесь, в квартире Рылеева, Каховский обрел новое предназначение — он будет Брутом, он прославит свое имя. День ото дня Каховский становился все более дерзким, он готов был положить голову на плаху, если это потребуется обществу. Он готов был стать цареубийцей. Рылеев сдерживал его пыл. И в то же время не давал остыть его честолюбивым планам. Каховский был его находкой, и вождь восстания не хотел его терять. Каховский между тем искал и другой выход: он жаждал вновь вступить в армию, даже пошел — не без помощи Рылеева — себе обмундирование, подал прошение, но ему отказали. Искал встречи с Милорадовичем. Но жизнь свела их позже, они стали жертвами событий, остановить которые уже никто был не в силах...

Об этих совещаниях в доме у Синего моста Милорадович знал. У Фогеля было не так много шпионов, но были такие офицеры, как Ростовцев, их не надо было содержать на службе. Да и в любом питейном заведении или светском салоне можно было легко разговаривать одного из тех, кто бывал у Рылеева. Поначалу Фогель доносил, что там собираются обычные штатские говоруны. Но потом стало известно, что туда приходят и офицеры из гвардейских полков. В этом тоже не было ничего удивительного: Рылеев был не только поэтом, он работал в Российско-Американской компании, многие жаждали путешествий и дальних странствий. Недаром там замечены были Николай Бестужев и Константин Торсон — морские офицеры. Но в последнее время подозрения пали и на князя Трубецкого. Милорадович знал его как человека исключительной храбрости. Под Кульмом две роты третьего батальона Семеновского полка, не имея в сумках ни одного патрона, только штыками и саблями, с громовым «ура» опрокинули французов, стрелявших из-за опушки леса, — Трубецкой под пулями шел спокойно впереди солдат, размахивая шпагой над головой. На Бородинском поле Трубецкой простоял четырнадцать часов под ядрами и кар-

течью с таким же спокойствием, с каким он сидит, играя в шахматы. Милорадович играл с Трубецким несколько партий в доме Лавалей на Английской набережной. Трубецкой всегда уходил в защиту и осторожничал. Выиграть у него было почти невозможно. Горбоносый (так мысленно называл Трубецкого Милорадович), конечно же, забрел к Рылееву случайно, слишком разные были они люди...

После полудня явился Фогель — глаза красные: или перебрал шампанского, или не спал всю ночь, — принес перехваченную и перлюстрированную почту. Милорадовичу была противна эта манера — читать чужие письма. Обычно он позволял Фогелю просто пересказать содержание, в сами же письма даже не заглядывал. Но на этот раз письмо задело его, словно было адресовано ему. Писал Пущин, отставник и судья, ни в чем особо не замеченный. Писал в Москву.

— Ищут они там поддержки, — пояснил Фогель. — Там есть генералы, замешанные в сговоре — Фонвизин и Орлов. До южных далеко, так кличут своих из Москвы. А там, в Москве, заговорщиков и знать не хотят. Самые опасные на Юге. Пестель один чего стоит. Его надо арестовать немедленно, иначе беды не оберемся.

Милорадович молча смотрел на Фогеля: много на себя берет, его дело — доносить. А насчет Пестеля Дибич уже распорядился. Пусть там, на Юге, сами расправляются. Здесь, в Петербурге, таких злодеев, как Пестель, нет. А был ведь храбрый солдат. Но заносчив, слишком заносчив.

Фогель пододвинул копию, снятую с письма Пущина. Пришлось прочесть. Все именно так, как пересказывал Фогель: «Когда вы получите сие письмо, все будет решено. Мы всякий день вместе у Трубецкого и много работаем. Нас здесь 60 членов. Мы уверены в 1000 солдатах, коим внушено, что присяга, данная императору Константину Павловичу, свято должна наблюдаться. Случай удобен: ежели мы ничего не предпримем, то заслуживаем во всей силе имя подлецов. Покажите сие письмо Михаилу Орлову». Все это означало, что Трубецкой не так уж прост. Но главное, что ударило в глаза, — если ничего не предпримем, то заслуживаем во всей силе имя подлецов. Это и к нему, Милорадовичу, относилось: ведь не всё он предпринял. Того же Пущина отказался принять, когда тот порывался зайти в кабинет. Может быть, они и правы: вывести гвардейские полки и напугать до смерти Николая. О выводе войск на пло-

щадь или за город тоже доложил Фогель. Отдать приказ об аресте? А стоит ли?.. Прослышешь узурпатором, поверил слухам...

— Подтвердили многие: если будет пере-присяга, не миновать возмущения, — продолжал Фогель, повысив голос, — обычно шептал, как будто боялся, что кто-нибудь другой услышит, а тут осмелел. — Ваш Якубович замышлял на цареубийство. А теперь похлеще придумал, кричал на Рылеева: зачем, мол, ваши манифесты, ваши уговоры, бродите вдоль казарм, как шелудивые псы! Надо разбить двери в кабаках, отдать кабаки черни, а потом напустить чернь на дворец!

— Не мог он так говорить! — прервал Фогеля Милорадович. Выдумки все это, блеф, кому нужно такое сумасбродство.

— Вот-вот, — закивал Фогель, — и Рылеев даже был против. Один Каховский только столь же опасный. Сказал, что надо учиться у стариков, мол, когда Павла убивали, граф Пален крикнул: нельзя изжарить яичницу, не разбив яиц...

Если Фогель и его шпионы ничего не путают, то яичница может получиться слишком большой, из многих яиц, подумал Милорадович. Впрочем, на словах все молодцы. Стоял ли этот Каховский под пулями, стрелял ли сам?

Вряд ли... Опасен ли Рылеев? Как и все поэты — смел только на словах. Но слова его весьма опасные... Как это там у него: «Душа в волненье тяжких дум теперь одной свободы жаждет...» А вот его сатиру на Аракчеева прочел Милорадович с превеликим удовольствием:

**Надменный временщик, и подлый и коварный,
Монарха хитрый льстец и друг неблагодарный,
Неистовый тиран родной страны своей,
Внесенный в важный сан пронырствами злодей...**

Это будет посильнее, чем у Пушкина, полагал Милорадович. Но даже после такой эпиграммы ничего не сделалось Аракчееву, напротив, еще большую власть дал ему государь. Сначала военный министр, теперь глава военного департамента при Государственном совете. Ни с кем не считается. И до Рылеева, конечно, доберется. Быть этому Рылееву на дальнем поселении, быстро из бывшего прапорщика сделает солдата...

— С Рылеевым связи поддерживает Пушкин, тот, что выслан по повелению покойного государя в Михайловское, — продолжал Фогель, теперь опять говорил в своей привычной манере, почти полупшепотом.

Пушкину особого значения Фогель не при-

давал, однако переписку поэта с Рылеевым скопировал. Ничего предосудительного и опасного в ней не было. Как и все поэты, они не очень жалуют друг друга. Пушкин считает, что в его, Рылеева, «Думах» слишком много общих мест, что пишет Рылеев по заранее придуманному плану. Рылеев же убежден, что Пушкин слишком чванится своим дворянством. И тут же восхваляет его и пишет, что устремлены на Пушкина глаза всей России, что должен быть Пушкин Поэтом и Гражданином.

Милорадович сказал Фогелю, чтобы не приносил больше этих писем, пусть они там друг с другом сами разбираются. Хватит того, что с Грибоедовым в свое время намучился. Фогель скривился, склонил голову к плечу — всегда так делал, когда обижался, — и не преминул заметить, что в любой переписке есть своя тайна. Стал уверять, что не сегодня-завтра вызовут эти злодеи Пушкина к себе, и допустить сего никак нельзя. Ибо будет тогда еще большее возмущение в обществе от дерзких скабресных стихов...

Стихами нашего будущего императора Николая не проймешь, подумал Милорадович. Да и могут ли стихи что-либо исправить? Так, сотрясение воздуха. Но Фогеля он одоб-

рил — продолжай наблюдение. Тот опять скривился: ждал команды об аресте злоумышленников, а тут полное непонимание — ведь, не ровен час, кровь прольется... Такие, как Рылеев и Пушкин, только и жаждут крови...

В заснеженном селе Михайловском опальный поэт словно чувствовал, что близятся роковые дни. Ночами он не мог уснуть, вскакивал, зажигал свечу, пытался писать. По всей комнате были разбросаны обкусанные, обожженные кусочки перьев, исписанные листки бумаги, возле кровати лежала стопка книг. Когда свеча гасла, в окне была видна полная луна и серебристые пологие сугробы, которым, казалось, нет конца. Среди белых снегов пряталась подо льдом река Сороть. Он выходил в сени, разбивал тонкий ледок в кадучке, набирал воды — вода была такой студеной, что начинали ныть зубы. Лунными ночами на конек кровли садилась сова и громко плакала. Чугунный Наполеон, стоящий на столе, смотрел невидящим взглядом, скрестив руки на груди. Некогда гроза всей Европы, потом — униженный всеми изгнанник. Люди не терпят побежденных кумиров. Никогда не надо ждать людской благодарности, ждать славы, томиться ее ожиданием. Все приходит

в свой час. Так уговаривал себя. Но было нетерпение, была жажда действия. За ночь комната выстывала: в доме сэкономили дрова, сэкономили всё, денег не хватало. За стихи платили, но нерегулярно, надо было просить и напоминать — быстро все забывали, надо было жить там, где издавали журналы и книги, в Москве или Петербурге. Здесь же, на Псковщине, была такая глушь, хоть волком вой. Сослали сюда и забыли. Обвинили во всех мыслимых и немыслимых грехах, а главное — в безбожии: написал в письме товарищу — «беру уроки афеизма». Оказывается, письмо вскрыли — какая низость! И никуда не денешься. Дороги занесены снегом, мерзлая колея, белые, как саван, поля, никаких следов, только мелкие кресты от птичьих лапок. Тоска.

Но было ведь и по-другому. До роковых декабрьских дней все было не так уж плохо. Летом были воистину счастливые дни. Скакал перелесками, душа радовалась. Прелестный уголок земли — это Михайловское. Цвели липы, медовый дурман поднимался над гречихой, на берегу озера Маленец было полно душистой и сочной земляники. Дом стоял на взгорье, из окон были видны светлые воды реки Сороть, от дома уходили к горизонту сосновые и липовые аллеи, в рощах по утрам

голосисто пели птицы. Летом каждое утро можно было купаться в реке. Потом была осень — казалось бы, самое любимое время года, и началась непроходимая тоска. Шли обложные дожди, низкие тучи висели над озером, выл ветер, и тогда тучи неслись вдаль, словно бесы. Спасение было в сочинительстве. Планов было много. Надо было закончить роман в стихах, попробовать написать драму — поспорить с Шекспиром. Няня готовила еду, заботилась, вела все хозяйство, говорила с ним подолгу. Но все равно ощущалась пустота. Душила обида — изгнали, бросили одного, здесь, в глуши, да еще монаха Святогорского монастыря приставили шпионить.

Отдушиной стало соседское Триторское — там добрейшая хозяйка Прасковья Александровна Осипова, и целый выводок милых дочерей, и обворожительная падчерица. По сжатой ниве мчался к ним напрямик, нетерпеливо нахлестывая коня, а иногда ходил пешком с тяжелой тростью в руках — хотел, чтобы рука была крепкой, чтобы не дрогнул в ней пистолет. У Осиповых не всегда радостно принимали позднего гостя. Возвращался домой. В Михайловском много пил от тоски; захмелев, рано ложился спать. Вставал ночью. Будить дворовых было неудобно. Вина никто не подаст.

Тогда шел в баньку, набирал в ванну холодной воды — от похмелья и следа не оставалось, мысли прояснились, и строчки легко ложились на бумагу...

В начале этого рокового года, в один весьма радостный день, в раскрытые ворота усадьбы влетела тройка и застряла в наметенном сугробе. Пушкин, босой, в одной рубашке, выскочил на крыльцо и сразу попал в объятия верного лицейского друга — Большого Жанно, Пущина. Пущин, в дохе казавшийся огромным великаном, схватил поэта в охапку и внес на руках в теплую избу.

О чем только не переговорили за день, сколько шампанского выпили, да и без вина пьянила радость общения. Подали кофе, уселись напротив друг друга с трубками. Вспоминали прошедшие годы и, конечно, лицей и всех лицейских. Говорили о том, как странно складываются судьбы. Говорили о самом добродушном из них — Федоре Матюшкине, недавно возвратившемся из северной экспедиции, а до этого совершившем кругосветное плаванье. Рассказал Пущин, что Федор на шлюпе «Кроткий» опять отправился в кругосветное путешествие.

— Как я ему завидую! — воскликнул Пушкин.

Вспомнили добрым словом Кюхельбекера, вернувшегося недавно из Москвы, где он издавал журнал «Мнемозина». Устроиться в Петербурге не может, к жизни не приспособлен, впору опять возвращаться на Кавказ. Все лицейские живут не совсем так, как хотелось бы, за исключением Матюшкина. Надо было идти в гвардию и не писать стихи. Ведь вот было время, оба — и Пушкин, и Пущин — мечтали стать военными, годы такие были, завидовали тем, кто успел отличиться в сражениях с Наполеоном, тем, кто брал Париж. Пущин осуществил мечты, стал военным, но быстро понял, что фронт и гвардия не для него, ушел в уголовные судьи. Почему? Отвечал невнятно — мол, захотел принести пользу людям. Разве один судья может искоренить тот произвол, что царит в судах, здесь впору всем лицейским в судьи записаться, и все равно беззаконья не осилить. Пушкин расспрашивал, что о нем говорят в Петербурге. Ему кто-то передал, что император Александр перепугался, найдя его фамилию в списках приезжих в столицу, и только тогда успокоился, когда узнал, что это не тот Пушкин, что это брат его, Левушка. Пущин заметил, что напрасно он мечтает о политическом своем значении, слава Пушкина не в этом, а в стихах, которые приобрели народность во всей России.

Вышли в комнату, где собирались швеи, полюбовались их работой. Пущин долго смотрел на самую красивую из них — Ольгу Калашникову, сразу догадался, что и Пушкин к ней неравнодушен. Потом вернулись в комнату Пушкина, открыли еще одну бутылку шампанского. Пущин привез рукопись комедии, сочиненной Грибоедовым, читали ее вслух, восторгались, хохотали. Пушкин был уверен: половина стихов войдет в пословицы. Некоторые места просил прочесть дважды. Запоминалось легко. Чацкий только не пришелся по сердцу Пушкину: вовсе и не умный, больше позерства. Грибоедов очень умен, а герой нет. Сетовали на цензуру, понимали, что такую пьесу не пропустят ни за что. Если только Милорадович решится — он ведь большой любитель театра и даже немалые субсидии выделяет. Пущин сказал, что как раз Милорадович и запретил постановку. Вероятно, не по зубам генералу пришелся Скалозуб. Или принял все на свой счет. Как там у Грибоедова: созвездие маневров и мазурки. Весьма близко. А вот еще — потрясающе:

**Я князь — Григорию и вам
Фельдфебеля в Вольтеры дам,
Он в три шеренги вас построит,
А пикните, так мигом успокоит.**

Но здесь, согласились оба, ничего близкого к Милорадовичу, это скорее Аракчеев. Милорадович — не фельдфебель! Баярд, рыцарь без страха и упрека. Пушкин полагал: был бы он в Петербурге, можно было бы уговорить Милорадовича, если только от графа зависит судьба комедии. Пущин не разделял надежд друга. Герои войны двенадцатого года уже другие, иные сражения ведут, многие разочаровались, ушли в отставку. Ермолова упрятали на Кавказ...

Коснулся разговор и тайных обществ. Пушкин сразу понял, что друг не хочет быть откровенным. Было обидно, что даже Жанно не во всем доверяет. Вспомнилось, как на Юге, в роскошной усадьбе Давыдовых, в Екатеринин день собрались на именины хозяйки. Гости были люди известные, и среди них даже несколько генералов: такие герои двенадцатого года, как Раевский и Орлов; были, конечно, и те, кто возглавляет тайные общества, и собирались они в Каменке не случайно... Чтобы запутать непосвященных в дела обществ гостей, встал из-за стола отставной подпоручик Якушкин, принялся, словно шут, бегать по залу и убеждать всех, что в России тайные общества не могут существовать, что все разговоры о тайных обществах здесь, в Каменке, были

шуткой. Генерал Раевский тогда обиделся. Такими вещами не шутят, сказал, это не игрушки. И Пушкин задыхался от обиды — не доверяют, не доверяют...

Вот и в ту январскую встречу Пушин о многом умолчал. Допытываться было бесполезно. Пушкин сказал, подавляя обиду:

— Впрочем, я не заставляю тебя, любезный Пушин, говорить. Может быть, ты и прав, что мне не доверяешь. Верно, я этого доверия не стою — по многим моим глупостям...

Пушин молчал, оберегая друга. Вскоре убедился, что и в этой глуши Пушкина не оставили без надзора. В сенях слышалось кряхтение и чьи-то шаги. Пушкин торопливо раскрыл лежащую на столе Четью-Минею. В комнату вошел монах, представился — настоятель Святогорского монастыря. С трудом дождались, когда любопытный монах, кончив свои расспросы, покинет их. Пушин был возмущен: как можно вот так являться без приглашения, тем более зная, что у хозяина гость.

— Перестань, любезный друг! Ведь он и без того бывает у меня, я поручен его наблюдению. Что говорить об этом вздоре!

И все же осталась в воздухе некая тяжесть. К тому же вдруг запахло угаром. Это няня затопила все печи в доме: думала, что

Пушин останется ночевать. Открыли трубы, стали проветривать комнаты. И продолжили отрывистую, скачущую с одного на другое беседу. Расстались за полночь. Когда уехал Пушин, на часах пробило три...

В декабре, когда прошел почти год со дня встречи с Пушиным, вспоминал Пушкин все сказанные слова, пытался теперь угадать свою судьбу, ждал скорого освобождения. Знал о том, что присягнули Константину, верил в Константина, верил, что с новым царем можно будет договориться, можно будет вырваться из ссылки. А тут пришли слухи о переприсяге Николаю. От него ничего хорошего не ждал. Вспомнились стеклянный взгляд великого князя, выступающий подбородок, ненависть к штатским. Знал Пушкин и о том, что гвардия презирает этого любителя фрунта, гвардия не смолчит. Понимал, что настал удобный момент для вольнолюбцев. Представлял, как мечутся там, в Петербурге, друзья, знал, что все надежды связывают с Рылеевым. Перечитывал письма, полученные от Кондратия. Вспоминался и Милорадович — ужели генерал допустит на престол ненавистного любителя фрунта, ужели отступится от Константина. Понимал — никогда... И становилось страшно и радостно. Близились перемены, в воздухе пахло смутой.

И в то же время явление бунта опасно...
В стране, где нет законов, где все решает гвардия в столице, — можно всего ожидать.

**Россия, бедная держава,
Твоя удушенная слава
С Екатериной умерла...**

Так написал совсем недавно, в отчаянии. А хотелось верить в иную судьбу для себя и для многострадальной страны. Он чувствовал — выпал исторический шанс. Сидеть долее в бездействии было невозможно. Надо было ехать в столицу, не дожидаясь никаких разрешений. Коли нет царя — кто волен запретить? Надо сразу найти Рылеева, узнать, что они с Бестужевыми замыслили, нельзя упускать это время...

Ездил в Тригорское советоваться с Прасковьей Александровной. В ее длинном старинном доме протапливалось только несколько комнат. Осипова сидела, кутаясь в цветную бухарскую шаль. В тусклом свете свечи она казалась молодой и таинственной. Узнав о его замысле, испугалась, попыталась отговорить. Потом поняла, что ничем не удержит. Посоветовала ехать, переодевшись в одежду дворового человека, под чужим именем. Тут же вместе и сочинили билет на проезд двум людям

села Тригорского. Один из них в документе именовался Алексеем Хохловым: росту два аршина четыре вершка, волосы темноватые, глаза голубые, бороду бреет, лет двадцать девять. Года прибавили. Выглядел тогда Пушкин старше своих лет. Далее Осипова написала: «...посланы от меня в Санкт-Петербург по собственным моим надобностям, и потому прошу господ командиров на заставах чинить им свободный пропуск». И подпись: «Опочецкого уезду Статская Советница Прасковья Осипова». И печать...

Утром запрягли тройку. На душе у Пушкина было беспокойно. Ночью плохо спалось, возникали какие-то странные видения, все казалось пустым, мелким, надуманным. Кутаясь в тулуп, забрался в сани. Кучер Артамон хлестнул застоявшихся лошадей. Мела поземка, в утренней мгле дорогу было плохо видно — благо заблудиться невозможно: по наезженной колее путь на Святые Горы один. И тут метнулся перед лошадьми заяц. Кучер свистнул. Белый комок прыжками улепетывал к лесу. Дурная примета — пересек дорогу. Хочешь не хочешь, надо было поворачивать. Не судьба. А вернее — иная судьба...

Удалось бы приехать, и попал сразу бы за день до восстания, не миновал бы квартиры

Рылеева, ставшей штабом мятежников... Там, в доме у Синего моста на Мойке, шли непрерывные и бурные совещания. Там произносились страстные фразы и рождались порой фантастические и неисполнимые планы. Среди заговорщиков было много тех, кто отдал дань и поэзии и прозе. Сам Рылеев давно прославился как поэт, чьи стихи призывали к свободе. Писал стихи и Александр Бестужев, владел высоким штилем и его брат — морской офицер, историограф флота Николай Бестужев. Жил рифмами и Вильгельм Кюхельбекер... Пылкие поэтические слова побуждали к немедленным действиям. Особенно страстно говорил Рылеев. Лицо его оживлялось, черные как смоль глаза горели.

Напрасно Трубецкой убеждал, что не стоит слишком ретиво уговаривать солдат идти на площадь, что надо связаться с южанами, узнать планы Пестеля, а войска вывести за город во избежание кровопролития. «Нет, ни в коем случае! — возражал Рылеев. — Теперь уже так оставить нельзя. Мы слишком далеко зашли. Может быть, завтра нас всех возьмут, но мы не имеем права упустить возможность дать России свободу! Мы на смерть обречены, я сам стану в роту Арбузова солдатом!»

На Антона Арбузова возлагали большие надежды. Был план, в который не посвящали всех участников заговора: Морской гвардейский экипаж должен идти не на площадь перед Сенатом, а захватить дворец. Трубецкой под напором Рылеева тоже согласился с этим планом. Рылеев несколько раз повторял, что тактика революций заключается в одном слове: дерзай! Большинство связывало успех восстания с арестом императора, но люди, близкие к Рылееву, понимали, что для полного успеха надо пойти на цареубийство.

Обняв Каховского, Рылеев сказал ему: «Любезный друг, ты сир на сей земле, ты должен собою жертвовать для общества — убей завтра императора!» И тогда по очереди обняли Каховского и Александр Бестужев, и Пущин, и князь Оболенский — адъютант генерала Бистрома. Оболенский в те дни стал одной из пружин готовящегося выступления, именно он осуществлял все связи с гвардейскими полками: бывать в любом из них он имел полное право по своей должности.

Комнаты в доме Рылеева были заполнены дымом, почти все не расставались с трубками. Штейнгель ушел наверх писать манифест. Гвардейские офицеры то входили, то исчезали. Весь этот день они провели в объездах

полков, пытаясь выяснить, на какие части можно рассчитывать. Не было уверенности во многих гвардейских частях, но что измайловцы, финляндцы, лейб-гренадеры, московцы и моряки не подведут — в этом не сомневались. Не было и ясных планов, как удержать власть в случае победы восстания. Никто из них не претендовал на роль диктатора. К этому стремился разве что полковник Пестель, глава Южного общества. Полагали, что если бы он двинул сюда полки, то успех был бы предрешен. В тот день накануне восстания они еще не знали, что в Тульчине, в штабе второй армии полковник Пестель арестован по приказанию Дибича и что там продолжают аресты. Дибич действовал решительнее Милорадовича. Здесь же, в Петербурге, в Милорадовиче, ратовавшем за Константина, видели, скорее, не врага, а сообщника.

В тот решающий декабрь сложилось в Петербурге такое положение, что не было среди руководителей восстания человека, облеченного высокими чинами. И деятели тайного общества в эти дни не только занимались агитацией в войсках, но и искали военачальников с густыми эполетами. Рылеев тоже понимал, что прапорщики не смогут поднять войска и командовать ими. Нужно было привлечь на свою

сторону людей именитых, имеющих власть и способных установить либеральные законы. Возлагали надежды на Сперанского и Мордвинова, пытались вести переговоры. Со Сперанским был тесно связан совместной работой подполковник Батеньков. Сперанский соглашался с Батеньковым в том, что систему правления в России надо срочно менять, но все его порывы остались в прошлом: неоправдавшиеся надежды, связанные с Александром, неприятая конституция, опала — все это подорвало его силы. Сперанский заявил, что не сможет что-либо предпринять.

Адмирал Николай Семенович Мордвинов был настроен более решительно. Лейтенант Бодиско рассказал Рылееву, что старый адмирал не будет присягать Николаю, что обещал Мордвинов в Сенате стоять за правое дело и даже сказал, что стыдно будет господам офицерам, если не последуют его примеру. Речь шла, конечно, не о вооруженном мятеже, открытое выступление адмирал отвергал, просто считал незаконной присягу Николаю. В предводители восстания Мордвинов не годился. Было неясно, кого из генералов можно привлечь для командования войсками. Трубецкой переговорил с командиром Семеновского полка генералом Серге-

ем Шиповым, который в свое время состоял в «Союзе благоденствия» и был дружен с Пестелем. Но Шипов, поначалу сочувствующий заговорщикам, на последней встрече заявил, что Константин — злой варвар и надо поддержать Николая. Очень не хватало в Петербурге генералов Фонвизина и Орлова: один был в Москве, другой — на Юге. Оставалось искать полковников. Один Трубецкой не смог бы командовать всеми восставшими войсками. Велись переговоры с полковыми командирами Тулубьевым и Моллером, но они были безуспешными. Большие надежды возлагал Рылеев на полковника Булатова. В войне двенадцатого года и в заграничных походах Булатов командовал лейб-гренадерами, которые помнили его и ценили за доброе отношение к солдатам и беззаветную храбрость. Под Смоленском Булатов сражался до последнего, он прикрывал отход армии. Когда его ранили, солдаты по очереди несли его на руках... Рылеев познакомил Булатова с Трубецким, объяснив, что если Булатов прикажет, то весь лейб-гренадерский полк пойдет за ним. Булатов согласился возглавить полк, если этот полк выйдет на площадь. Якубович клятвенно заверял, что сможет поднять Морской

гвардейский экипаж. Оба они не исполнили на следующий день свои обещания...

И большие надежды члены тайного общества продолжали возлагать на Милорадовича. Якубович сообщил о своей встрече с генерал-губернатором. Говорил отрывисто, пылко, и было непонятно, где в его словах правда, а где он выдает желаемое за действительное. Более трезво смотрел на вовлечение в заговор Милорадовича Иван Пущин, который тоже говорил с губернатором. Помог здесь Федор Глинка. Сам он, в прошлом храбрый офицер и поэт, от всяких разговоров, связанных с восстанием, уходил. Однако, как и его губернатор, у которого он заведовал делами, был уверен, что присяга Николаю совершенно незаконна. Глинка провел Пущина в кабинет графа. Милорадович сокрушался, что люди ничего не понимают, что воцарение Николая ударит по всем, что это будет не только конец всему благородному и рыцарскому, что Россия задохнется под его правлением. Говорил Милорадович с большим пафосом. Но при первых намеках на то, что есть люди, способные остановить Николая, неожиданно замолк, а потом сказал, что по секрету может сообщить: все эти люди ему известны и все они известны императору, а какой же это тайный за-

говор, когда только ленивый не знает имен заговорщиков. В общем, разговора конкретного не получилось...

Узнали, что Пущин отправил письмо в Михайловское, звал в Петербург Пушкина. Николай Бестужев возмутился: зачем, нельзя ему быть среди нас, мы идем на погибель, мы готовы жертвовать собой, его горячность все знают... Рылеев был согласен с Бестужевым, и в то же время — именно здесь Пушкин был бы полезен обществу, его стихи так нужны сейчас...

Почти никто из организаторов восстания так и не сомкнул глаз в ту ночь. Александр Бестужев и Якубович поехали в Морской гвардейский экипаж. Рылеев ездил в Финляндский полк. Михаил Бестужев добрался даже до городской заставы у Нарвских ворот: он пытался уговорить начальника караула не впускать в город великого князя Михаила, который вот-вот был должен возвратиться с последними вестями от Константина.

Ночь стояла тихая и туманная. Дома не светились окнами. Зато в гвардейских казармах повсюду можно было увидеть огни...

Забрезжил зимний поздний рассвет и наступило утро рокового дня — утро 14 де-

кабря. От вчерашней оттепели не осталось и следа, сани легко скользили по смерзшемуся льдистому снегу. Генерал-губернатор Петербурга граф Милорадович прибыл во дворец одним из первых. В огромном зале, освещенном многочисленными светильниками, блистая позолотой орденов, позвякивая шпорами, прохаживались люди в густых эполетах, которым повиновались корпуса, дивизии и полки. Новый император появился внезапно, вышел неслышно из-за спины Бенкендорфа. Все застыли. Лицо императора бледное, тонкие губы сжаты. Быстро и нервно прочел завещание Александра и письмо из Варшавы об отречении — от Константина. Затем всем был роздан циркуляр об учинении присяги на верность в войсках. Все это было воспринято молча, как само собой разумеющееся, даже, пожалуй, со вздохом облегчения. Наконец-то закончилось междоусобице. Потом все поспешили заверить нового государя в своей преданности и готовности жертвовать собой за него. Договорились после принятия присяги в войсках собраться здесь, во дворце, в час дня.

— Вы отвечаете головой за спокойствие в столице, — сказал Николай, обращаясь ко всем и глядя немигающими глазами на Милорадовича.

— Я уверен, ваше величество, — сказал Милорадович, — в столице все в полном спокойствии.

Мог ли он ответить по-иному... Две недели назад, воспрепятствовав вступлению на престол Николая, Милорадович полагал, что вся гвардия столицы разделяет его взгляды — все хотят Константина. И вот теперь получилось так, что Константин отступился от всех и с воцарением Николая для него, Милорадовича, военная карьера закончена. Еще вчера была слабая надежда, зарожденная разговорами с Якубовичем, — не дадут царствовать тому, кто этого не достоин, — но сегодня эта надежда растаяла. Стоя во дворце среди других генералов, Милорадович ясно почувствовал: все — и Воинов, и Бистром, и Нейдгардт — давно уже отступились от Константина. Милорадовича охватило состояние полного безразличия, он смирился со своим поражением. Сколько было разговоров о вольнодумцах, о тайных обществах — а все осталось только разговорами. Из Таганрога шли вести от Дибича: на Юге обширнейший заговор, замешаны генералы, не хотят восшествия на престол Николая. И где же эти генералы? Попрятались по своим норам. Прав был покойный император

Александр — не обращал на этих заговорщиков никакого внимания...

Так, вероятно, полагал Милорадович, ибо вместо того, чтобы проехать по гвардейским полкам, казармы которых были расположены вдоль Фонтанки, он подозвал своего адъютанта Башуцкого и велел подать карету, но не к парадному подъезду дворца, а к Салтыковскому: хотел отбыть незаметно. Вспомнил — дал слово очаровательной танцовщице Катеньке Телешовой, что навестит ее и обязательно испробует специально для него приготовленную кулебяку, можно будет и бокал поднять за воцарение нового императора и за свою очевидную отставку.

Катенька встретила звучным смехом, радостно щебетала. И кулебяка была отменна, но вот беда: где ни появится губернатор — всем известно, дом полон актеров и актрис, да еще и сам директор театра Аполлон Майков обитает здесь. Вошел без приглашения: ко мне, ко мне, обижают, Михаил Андреевич, такой замечательный день — император новый у России, виват императору! Но и у Майкова не дали посидеть. И хоть обещал Катеньке вернуться, а вышло совсем иное предназначение.

Из штаба — вестники, понять ничего невозможно. Вслед за ними прибежал началь-

ник тайной полиции Фогель, стал что-то шептать на ухо — у Фогеля всё секреты. Ясно одно: началось возмущение. Сначала даже некое удовлетворение почувствовал — вот, не прислушались к губернатору, а потом — испуг: ведь это он, генерал-губернатор, за все ответчик. Ест кулебяку, взирает на щечки с ямочками, с Майковым бокал поднимает — а там, на улицах, творится что-то страшное...

Выбежал на лестницу, шпага при каждом шаге билась о левую ногу, почти бегом к карете — и во дворец. Но не так-то просто оказалось пробиться туда. У Адмиралтейства, на Петровской площади, у строящегося собора полно народа — пьяная чернь, всех раздражают мундиры и ордена. Стал кричать, высунувшись из кареты, — все равно не пропустили, пришлось к Дворцовой площади пробираться пешком. Узнать, кто и где взбунтовался, было невозможно, слухи один нелепее другого...

Возле царского дворца творилось тоже нечто невообразимое. Новый государь в окружении толпы что-то пытался всем объяснять, его заслонили адъютанты. Забил барабан — это вышли преображенцы. Грянуло троекратное «ура», и царь быстрым шагом двинулся вдоль строя. Рядом с ним семенил генерал-майор Нейдгардт. Милорадович догнал их.

Нейдгардт говорил по-французски, склонившись к плечу Николая:

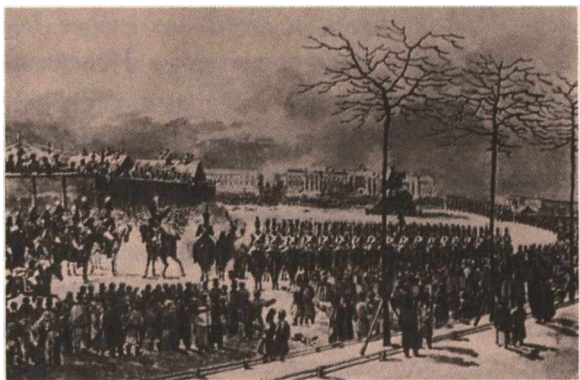
— Государь! Московский полк в полном восстании. Шеншин и Фредерикс тяжело ранены, мятежники идут к Сенату!

Значит, не только чернь, но и гвардия, понял Милорадович. Он резко ухватил императора за локоть и оборотил лицом к себе. Он не собирался оправдываться, теперь он хотел одного — действовать решительно. Николай отшатнулся от него, холодно взглянул, и взгляд этот не обещал прощения.

— Не забудьте, граф, что вы отвечаете за спокойствие в столице, — процедил Николай сквозь зубы, — возьмите конную гвардию...

Милорадович отпрянул, вытянулся, как солдат, даже приложил руку к шляпе, молча повернулся и торопливо побежал вдоль рядов преображенцев, придерживая шпагу. Адъютант Милорадовича Башуцкий едва поспевал за ним. Проскочив через редкую цепь людей, генерал почти наткнулся на пустые парные сани, которые в этот момент пытался занять человек в медвежьей шубе — им оказался обер-полицмейстер Шульгин.

— Позвольте, мне ваши сани нужны! — крикнул Милорадович и вскочил в сани. Адъютант едва сумел удержаться на запя-



Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 года.
Акварель К. Кольмана. 1820—1830-е гг.



Восстание 14 декабря 1825 года.
Картина В. Тимма. 1853 г.

ках, кони рванули, и буквально через несколько минут сани подкатили к Исаакиевской площади.

Тут было полно народа, все смотрели туда, где за пеленой падающего снега угадывался силуэт медного монумента. Именно там, подле царственного всадника, скопились бунтовщики. Вокруг говорили о том, как расправились со своими командирами москвичи, как шли они к площади с барабанным боем, с батальонными знаменами.

Сани двигались по снежной полосе, отделявшей толпу от бунтовщиков. Теперь можно было даже различить лица. Командовал мятежниками Александр Бестужев. Надев шляпу на обнаженную саблю, бегал перед строем черноусый капитан с повязкой на лбу — Якубович, узнал Милорадович. Теперь стали понятны настойчивые визиты в штаб этого героя Кавказа.

Толпа вокруг орала, ревела. Толкали друг друга в бока, чтобы согреться. «Ура Константину!» — раздавалось со всех сторон. Иногда кричали и такое: «Ура конституции!». Кто-то спросил: это что еще за конституция? Ему ответили: жена Константина. В туманном морозном небе, словно застывший желток, висело негреющее декабрьское солнце. Москов-

цы выстроились в каре, выставили оцепление. Говорили в толпе, что ждут подхода моряков, уже сообщили, что они вышли из казарм и движутся по Гороховой...

Пробиться через толпу на санях было невозможно, пришлось ехать в объезд по Мойке, через Поцелуев мост к казармам конногвардейцев: надо было срочно вывести конницу и смять восставших.

В конюшнях и без приказа Милорадовича уже седлали лошадей, поправляли сбрую, суетились.

Милорадович излил свой гнев на первого попавшегося под руку поручика:

— Почему полк не готов, сколько можно ждать, дьявол вас всех забори!

Башуцкий побежал в казармы. Милорадович нервно ходил вдоль манежа, изредка вскидывая голову, гнев переполнял его — прошло уже более десяти минут, но ни одна лошадь не была выведена. Наконец вышли несколько офицеров, и среди них Орлов, брат того генерала, который, судя по доносам, был главным у бунтовщиков на Юге, того самого, с которым Истомина... Но даже при появлении своих начальников кирасиры действовали лениво: словно нарочно, то садились в седла, то спрыгивали — будто дразнили.

Милорадович не выдержал, накинулся на Орлова:

— Где же ваш грёбаный полк? Я ждал двадцать три минуты и не буду ждать более! Дайте мне лошадь!

Орлов оправдывался, просил обождать хотя бы несколько минут, уверял, что полк будет тотчас готов.

— Не хочу я вашего дурацкого полка! Я не хочу, чтобы этот день был залит кровью! Я один покончу с мятежом! Немедленно покончу! — Милорадович выкрикивал слова то по-русски, то по-французски. Он был разъярен.

Наконец подвели коня. Милорадович легко вскочил в седло, несмотря на свою грузность. Почувствовал вдруг, как в решающие моменты на поле боя: теперь все зависит от него. Горе-вояки, засидевшиеся кирасиры, протухшие от безделья генералы — он всем покажет, кто такой Милорадович! Испугались горстки мятежников — это просто смешно! Он был теперь как никогда уверен в себе. Пустил коня рысью, и бежавший сзади Башуцкий отстал. Люди кидались в сторону, ахали. Генерал был без шинели, в орденах, с голубой лентой, на боку шпага. Многие узнавали губернатора, кланялись вслед, но кто-то из толпы черни запустил поленом, конь шарахнулся...

Милорадович почти беспрепятственно проехал полосу, отделяющую толпу от восставших, его пытались остановить мятежники, стоящие в заградительной цепи, он направил коня прямо на их главаря, неизвестного ему поручика, тот отскочил, и Милорадович выехал к строю мятежников. Они не просто скопились у монумента Петру, они готовы были защищаться, ибо выстроились в каре по всем правилам военных экзерциций. По форме солдат Милорадович сразу определил, что здесь только москвичи. Солдаты в большинстве своем были без шинелей, в парадных мундирах: видимо, выстроены были в полку для присяги, да так и прибежали сюда — прямо с построения. Было холодно, и солдаты в каре топтались на месте, хлопали друг друга по спинам. Милорадович увидел среди мятежников известного ему адъютанта и сочинителя Александра Бестужева, который был облачен в парадный мундир с аксельбантом, но почему-то в сияющих лаком высоких гусарских сапогах. Этот офицер, изображавший лихого кавалериста, уже обнажил свою саблю. Отметил для себя: что за маскарад — это ведь не по форме... Хочет выделиться. Будто на бал нарядился. Стоит у монумента, точит саблю о гранит скалы, на которой вздыбил коня великий Петр... По-

одадь от строя жалась кучка штатских: в длинной дохе Рылеев, рядом, высокий и тучный, — вероятно, Пущин. Левее мельтешил долговязый и нелепый человек, размахивающий пистолетом, — с трудом узнал в нем грибоедовского приятеля Кюхельбекера, тоже сочинителя. Рядом с ним — небольшого роста, курчавый, руками машет. Неужели Пушкин? Напрасно просил государя за него! Нет, похож, но не Пушкин. Догадался — брат его, тоже часто к Глинке приходил. Подумал — сейчас будут читать свои стихи, но зачем пистолет у Кюхельбекера? Нет, не для стихов собрались. Они-то и есть главные смутьяны! Неужели гвардейцы послушны им?

Здесь же, среди солдат, как ни странно, был и старший адъютант командующего гвардейской пехотой Оболенский. Увидел Милорадович и князя Одоевского, повесу и театрала. Штатские, неведомо как попавшие в каре, суетились больше других, они-то и хотели, очевидно, подтолкнуть солдат к действиям, они-то и жаждали крови! Без них надо было полки вывести, мирно стоять перед дворцом, просить Константина...

Уже окончательно рассвело. Желтое декабрьское солнце едва-едва проглядывало сквозь пелену сеющихся с неба мелких сне-

жинок. В такой холодный день, полагал Милорадович, солдаты долго не простоят на площади, тем более без шинелей. Он был уверен, что ему сейчас удастся обуздать бунтовщиков, что они, повинувшись своему губернатору, пойдут за ним, явятся с повинной во дворец. Это был бы достойный выход. Судьба послала ему шанс. Усмирив бескровно мятеж, он становится вторым человеком в стране после императора. Сейчас он заставит солдат подчиниться!

— Смирно! — выкрикнул Милорадович во всю мощь своих легких, громко, как умел это делать смолоду, командуя не таким жалким количеством солдат, а десятками тысяч воинов.

Он повторил команду несколько раз. Каре, словно застыв на морозе, примолкло, шеренги стали равняться, и не было уже больше ни смешков, ни выкриков. Он понял, что близок к победе. Его знали и любили в гвардии, солдаты не подведут его — он был в этом уверен.

— Солдаты! Солдаты! — выкрикнул он, подъезжая вплотную к застывшему каре. — Кто из вас был со мной под Кульмом, кто был на Бородинском поле, кто был под Люценом, кто был под Бауценом...

Он перечислял все те славные битвы, в которых довелось принять участие. Ответом ему

было молчание. Испуг или мороз сомкнул рты, пытался угадать он.

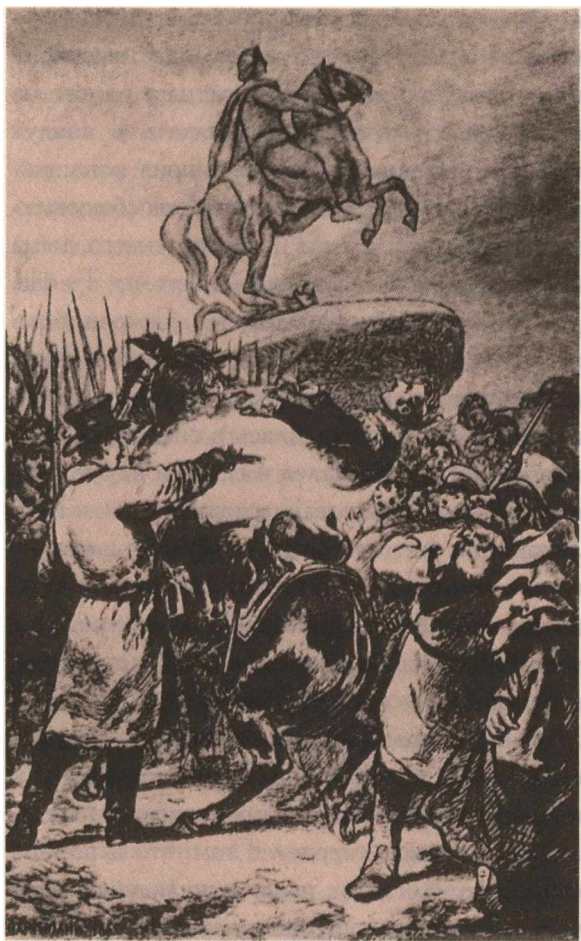
— Кто же из вас хоть слышал об этих сражениях и обо мне? Кто? — крикнул Милорадович.

Каре молчало, и в этом молчании было уже что-то грозное, предупреждающее, но граф не почувствовал этой растущей угрозы.

— Никто не слышал? — переспросил он. Снял шляпу, медленно осенил себя крестом, приподнялся на стременах, огромный, вышагающий надо всеми смуглый грозный воин, — и произнес: — Слава Богу, здесь нет ни одного русского солдата, здесь нет ни одного русского офицера!

Он вынул шпагу, поднял ее над головой и стал объяснять, что эту шпагу подарил ему Константин Павлович, потом опустил ее и громко прочел надпись на эфесе: «Другу моему Милорадовичу». Он хотел убедить солдат, что тоже стоит за Константина, — они не поняли его и продолжали молчать.

Тогда Милорадович не стал сдерживать себя. Он крыл бунтовщиков самыми последними словами, напирал на ряды, шпоря коня. Почувствовал: настал переломный момент — солдаты уже начали движение, они равняли ряды. Сейчас следовало только повернуть



Выстрел декабриста П. Г. Каховского
в графа М. А. Милорадовича.

Рисунок А. И. Шарлеманя

коня, и они пойдут покорно за ним, своим губернатором. И тут впереди солдат выскочил адъютант Оболенский, выхватил у одного из них ружье и стал нелепо тыкать в воздух штыком. Милорадович пришпорил коня, наезжая на безумца, и не заметил, как сбоку метнулся язычок пламени и клубок синего дыма повис над рукой, опускающей пистолет. То был роковой выстрел Каховского. Острая боль пронзила живот, руки словно налились свинцом, и, казалось, пламя охватило непокрытую голову — шляпа свалилась в снег. Граф еще мгновение удерживался в седле и вдруг рухнул. Конь, заржав, рванулся вперед, — и Милорадович уже не слышал своего крика и не видел, как в испуге шарахнулись от него солдаты. Адъютант Башуцкий сумел подхватить его и все повторял: «Граф, потерпите, граф...»

Он еще долго мучился, умирая на солдатской койке в конногвардейских казармах, и пытался понять, что же произошло, заплетающимся языком твердил о том, что исполнил свой долг. Когда из раны вынули пулю и он узнал, что пуля выпущена не из ружья, лицо его на мгновение просветлело. «Слава Богу, — прошептал он, — солдаты не подняли руку на меня...» Потом он впал в беспамятство...

А в это время много раз менялась обстановка на площади у Сената, и был даже одно время перевес на стороне восставших, когда к ним присоединились моряки гвардейского экипажа, поднятые на восстание Николаем Бестужевым и Антоном Арбузовым, и лейб-гренадеры во главе с Пановым и Сутгофом. Но это длилось недолго. Трубецкой не появилась на площади, не было никого с густыми эпюлетами. Все стыли в какой-то нерешительности. Попытка уговорить солдат митрополит — безуспешно. Подъезжал к каре великий князь Михаил, и, если бы не осечка пистолета, направленного на него Кюхельбекером, мог он стать жертвой восстания, как и Милорадович. Постепенно каре восставших окружили верные императору войска. Конногвардейцы не раз ходили на мятежников в атаку. Наконец картечь Сухозанета безжалостно скосила ряды восставших, и мокрый снег смешался с кровью...

В Михайловском Пушкин наверняка почувствовал, что в Петербурге происходит кровопролитие. Он метался по холодным комнатам, строил неисполнимые планы, клял свое суеверие, но от него уже ничего не зависело. Все могло пойти и по-другому... Нетрудно представить — если бы не заяц, перебежав-

ший дорогу, поэт прибыл бы в северную столицу и, конечно же, встал бы в ряды мятежников. Ведь там был его лучший друг Вильгельм Кюхельбекер. И очень близкий ему человек — Пущин. И блистательный офицер и сочинитель Александр Бестужев... И даже баснописец Иван Андреевич Крылов был там, среди восставших, рядом с Рылевым, — его отталкивали, с трудом отправили домой. Потом на следствии долго пытались выяснить: почему же всеми уважаемый, спокойный и рассудительный баснописец был с бунтовщиками? Иван Андреевич отговорился: думал — пожар. Все знали, что Крылов не пропускает ни одного пожара, — ему поверили. Пушкин бы не смог оправдаться: известно, как воздействовали на умы его крамольные стихи. На следствии обнаружилось, что почти у каждого из бунтовщиков среди бумаг хранятся потаенные вирши. Эти стихи поначалу переписывали в протоколы допросов, но потом велено было вымарать их из дел: они легко запоминались и расходились по столице. Пушкин не смог бы оправдаться... Но может быть, если бы он стоял в каре, он смог бы спасти Милорадовича. Спасение за спасение. Может быть, он остановил бы Каховского, как-нибудь сострил, наверняка, поэт был

бы в центре внимания, среди самых близких своих друзей, рядом с Пушиным и Кюхельбекером. Он понимал, что свобода не должна начинаться с убийства.

Он разделил бы участь своих друзей... Сидел бы в остроге в Сибири, заросший большой бородой, — с годами эта борода стала бы белой, как у князя Сергея Волконского. Пушкин прожил бы долго, написал бы много историй, но не написал бы того, что вошло в нашу жизнь, что стало гордостью нашей. Все было бы иначе. Да и вряд ли поэт смог бы выдержать каторжные норы: ему и Юг, и Михайловское казались невыносимой ссылкой, а там, в Сибири, были тяжелые каторжные работы... Избави, Господи...

Нет у истории сослагательного наклонения, прошлого не переменить. В прошлом, впрочем как и в настоящем, смелые и честные люди, и особенно поэты, гибнут в первую очередь. В петле — Рылеев. От пули Дантеса — Пушкин. Растерзанный персами Грибоедов. Замученный холодами сибирского острога Кюхельбекер. Убитый в стычке с горцами сосланный на Кавказ Александр Бестужев. Гибнут в нищете. Да и не только поэты: богатства и честность в России несовместимы. После смерти Милорадовича у него обнару-

жили всего несколько монет, завалившихся на доньшко сундука. После Пушкина остались большие долги. Люди чести идут на смерть, чтобы сохранить свою честь. Зато им дана другая жизнь, вечная жизнь в российской истории.

Историко-документальное издание

Олег Борисович Глушкин

ГРАФ МИЛОРАДОВИЧ в битвах и среди поэтов

Редактор *Е. В. Денеж*

Художественный редактор *С. И. Соболев*

Технический редактор *В. Н. Тонковид*

Корректор *Е. В. Таргонская*

Подписано к печати 22.03.2004. Формат 70*84/32

Гарнитура академическая. Бумага офсетная.

Печать офсетная. Уел. печ. л. 4,4. Уч.-изд. л. 4,48.

Тираж 3000 экз. Заказ 7082.

Отпечатано в типографии Федерального государственного
унитарного издательско-полиграфического предприятия
«Янтарный сказ». 236000, Калининград, ул. К. Маркса, 18.

Отдел продаж:

Калининград: тел./факс (0112) 27-91-57;

тел.: 21-62-51, 21-25-56;

E-mail: skaz_info@dvornik.ru

E-mail: skaz@dvornik.ru

Интернет-магазин: www.yantskaz.ru

Книга — почтой: (0112) 21-62-51

Санкт-Петербург (филиал): (812) 388-58-81

E-mail: yas.sp@rambler.ru

Москва (филиал): (095) 286-76-66

E-mail: mos-skaz@mtu-net.ru

*Он был единственным
из генералов, кому
император разрешил
носить в петлице знак
ордена Святого Георгия,
которым обычно
награждались низшие
чины*



ЯНТАРНЫЙ СКАЗ

ISBN 5-7406-0548-2



9 785740 605487